

Сергей Данилов

Невыносимая радость бытия

Сборник рассказов

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Села муха на варенье | - 2 |
| 2. Старик и Елена | - 9 |
| 3. Невыносимая радость бытия | - 20 |
| 4. Мистический выстрел | - 38 |
| 5. Яшка Обезьян | - 47 |
| 6. Ах, эти серые глаза | - 56 |
| 7. Гипотеза Бибербаха | - 69 |
| 8. Жил-был в траве кузнечик | - 75 |
| 9. Прохожая | - 83 |
| 10. Там, где хорошо | - 84 |
| 11. Три осколка в одном сердце | - 90 |
| 12. Семейный тур | - 97 |
| 13. День рождения маньяка | - 104 |
| 14. Полуночник | - 116 |

СЕЛА МУХА НА ВАРЕНЬЕ

Папенька мой женщин на дух не переносит. Сколько себя помню – с того самого дня, как в детском саду съел в киселе кусочек крахмала, предвкушая, что это будет необыкновенно вкусная ягодка, и так меня противно передёрнуло, что в ту же минуту решил я сей ужасный случай запечатлеть в голове навсегда – так вот, сколько помню себя, даже намёка на женское начало в нашей казённой квартире не присутствовало.

Ни тебе салфеточек самовязанных, ни думочек, ни запаха духов, ни слёз, ни семейных перепалок, как у моих школьных друзей, ни цветов, кроме гладиолусов ко дню рождения папеньки от сослуживцев, ни домашних пирогов, ни тортиков вкусных, ни шарфика газового, на вешалке случайно позабытого, ничего, ничего абсолютно, будто специально ничего. А ведь было, наверное, когда-нибудь многое, не могло не быть, но папенька все вещдоки, до единого, изъял и бесследно уничтожил, по ветру развеял, не оставил на память ни единой мелочи мало-мальской; очистив дом, а заодно жизнь нашу семейную от предположения даже о существовании женщин в природе, и неспроста, можно предполагать.

Разумеется, напридумывать причин, объясняющих столь решительное поведение, совсем нетрудно, а вот что было на самом деле, и как в действительности всё произошло, и произошло ли, тут я без понятия. Расспросить про свою бедную маменьку: кто она, где, почему не живёт с нами, и то не отваживался, даже когда был маленьким, больно папенька грозен, а теперь, братцы мои, даже и неудобно как-то затевать подобные разговоры.

Папеньку я люблю очень и боюсь до беспамятства. Вот если, скажем, нужен вам настоящий полковник, вы придите к нам да на папеньку посмотрите: если уж он не полковник, то полковников в свете вообще не бывает. Ежели сподобитесь прийти, увидите огромного мужчину, под два метра ростом, и что голову взять, что руку, что ногу, право, смотреть страшно, какой здоровенный, невольно удивитесь: бывают же люди! А поступь неслышная и лёгкая, как у снежного человека.

Признаюсь, более полковничьего полковника, чем мой папенька, я в жизни не видывал, хоть ходит он без всяких там портупей, наганов и прочих побрякушек – всегда в штатском. Папенька не какая-нибудь вам пехтура полевая, он в том самом ведомстве служил, которого все не любят, но побаиваются, а нынче, значит, на пенсионное довольствие перешёл: газеты читает да меня воспитывает по-прежнему, стало быть, дела у нас идут, контора папенькина знай себе пишет.

Маленьким мальчиком я часто пробирался в домашний папенькин кабинет и прятался там за столом, подглядывая тихонько за папенькой, который, придя с работы, съедал стоя (надоедало на службе сидеть) булку хлеба, полпалки варёной колбасы, запивая всё это с бульканьем прямо из графина, и падал, как подкошенный, на чёрный кожаный диван, мгновенно засыпая. Мне тогда казалось, что я могу что-то понять о себе, рассмотрев его организм очень пристально и подробно.

Особенно притягивала взгляд большая мраморно-белая рука, всегда не входившая в диван и от того лежавшая на полу рядом с телом. И ещё могучая сивая башка с африканскими ноздрями; если папенька сердится, то в первую очередь это заметно по вздрагивающим ноздрям. Похоже, и рождён я был тоже прямо из головы моего папеньки, поэтому пытаюсь скрыть от него свои мысли, скажу вам откровенно, – бесполезное и опасное занятие. Ему всё про меня известно. Даже когда папенька спал, свободно раскинувшись на диване, и веки его плотно закрыты, а дыхание глубоко и безмятежно, мне неотвратимо чудилось, что он, несмотря ни на что, остаётся в постоянной настороженности по отношению ко мне, и, непонятно каким образом, но тоже очень внимательно за мной наблюдает.

Папенька интересуется всеми моими проблемами, даже самыми мелкими, о коих и говорить не стоит.

Каждый час, если я куда ушёл, обязан звонить ему и доложить, чем занимаюсь в данный текущий момент. Из университета в том числе. Для этого приходится иногда покидать лекции, что служит поводом для тихого веселья в среде однокашников и, естественно, не улучшает отношений с преподавателями: иные, в основном женщины, полагают, что у бедняги недержание в тяжёлой форме, а потому весьма любезны, другие же, напротив, видят во мне местного клоуна, ведущего непонятную игру.

Однако ничего не поделаешь: надо, значит, надо. Добежав до телефона, я сообщаю папеньке, где нахожусь, чем занимаюсь, а потом, ответив на все вопросы, его интересующие, тихо говорю: "Конец связи", вешаю трубку и возвращаюсь в аудиторию – как всегда скромный, с опущенными глазами, чувствуя за собой грех соглядатая.

По приходу домой папенька обычно встречает меня у дверей.

– Побеседуем, друг сердешный? – говорит он, пронзая взглядом серых серьёзных глаз, от которых, как от рентгеновских лучей, хочется прикрыться свинцовым фартуком.

– Побеседуем, папенька.

– Что-то ты сегодня весь прямо светишься? Не иначе наш Евгений снова вляпался в историю, а? Села муха на варенье? Ну признайся, дружище, не стесняйся, села?

– Да что вы, папенька, никто и не думал даже, – я отвожу взгляд, в котором проявились ненужные мысли, – просто погода хорошая, на душе отрадно мне, вот радостно и сделалось.

– Погода? Погода, она, конечно, располагает. Идём-ка, братец, проанализируем твою ... мг-ммм ... погоду, – веселится папенька, крепко потирая руки.

Я понимаю: соскучился родимый по работе, безрадостно ему газеты читать одному.

Мы входим в кабинет, и рассаживаемся по своим местам: папенька, значит, за стол с графином и лампой, тут же делаясь следователем, я на голый табурет.

– Курите? – спрашивает следователь, открывая толстенную папку с моим делом.

– Нет, – отвечаю, – не курю. Даже в детстве не баловался.

– Правильно делаете. Фамилия, имя, отчество?

И вопрос начинается.

Спрашивают меня про многое, о маменьке в том числе. Я скромно сообщаю, что никогда в жизни маменьки не видел, по крайней мере, в сознательном возрасте, то есть после той ягодки в киселе. Кто она – не знаю, и никакой информацией на её счет не располагаю. Для убедительности равнодушно пожимаю плечами.

Волосы в ноздрах следователя удовлетворённо ёжатся.

Далее приходится пересказывать, чем занимался сегодня, в мельчайших подробностях, с деталями и буквально по минутам, другому человеку это мука была бы, но я привычен уже: ежедневные собеседования подобного рода приучили меня вести внутренний дневник, и хоть ночью будите да спрашивайте, какая, мол, такая мыслишка завелась в твоей, братец, головёнке вчера в 10.43, я отвечу тотчас и по существу, нет, ей-богу, не хвалюсь.

– Стоп! – прерывает следователь беглое повествование, всем своим видом давая понять, что считает его отрепетированной легендой. – Кто сидел справа от тебя на лекции, отвечай быстро, ну?

– Ардуганов, – говорю, усатый-волосатый, – точно, он. Пахло от него салом и чесноком, наверное, получил посылку из дома.

– Слева?

– Минутку, сейчас повспоминаю, – я мысленно представляю 204 аудиторию главного корпуса, вижу театрально играющего свою лекцию доцента Хриповицкого у доски и поворачиваю голову влево, – из окна прямо в глаз бьёт солнечный луч.

– Слева никого, до конца ряда все места незанятые.

– Прогуливают, значит? – папенька пристально, с укоризной смотрит, закуривает. – Эх ты, братец-кролик, и чего мы с тобой в морской бой играть будем? Сказал бы прямо, как подобает честному человеку: кто она, где сидела, что ты испытывал, а я постараюсь помочь тебе избавиться от этой... психической зависимости. И как ты, фрукт заморский, не можешь понять очевидной вещи, что рассказать мне сейчас всё точно и подробно в твоих же интересах?

– Не знаю, папенька, можно ли это назвать зависимостью, – глядя в потолок и вспоминая, начинаю колотиться, – на одну девушку действительно посмотрел несколько раз. Сидела она двумя рядами ниже.

– Говори, я слушаю, что именно ты помнишь?

– Шею.

– Шею?

– Да, шею. Я обратил внимание, что волосы у неё забраны вверх, в причёску, а те, что растут пониже, на шее, выбились, так бывает, и пушатся сами по себе.

– Интэ-р-эсный факт. Так-так-так. Продолжай. Какие же чувства у тебя возникли при виде этой оголённой шеи?

– Практически, собственно говоря, никаких, просто хотелось, как бы это сказать точнее, вернуть волосы на своё место, в причёску.

– Ты намеревался сказать ей?

– Конечно, нет, это неудобно. Ну, как можно, папенька... извините, товарищ следователь. Просто хотелось привести волосы в порядок. Не самому сделать это, а чтобы оно как-то само собой сделалось. Но это было невозможно.

Конец своей речи я скомкал, слишком горячо взял, а жаль, ох, жаль.

Папенька знай строчит в своих бумагах.

– И как часто в течение занятий смотрел на шею? – поднимает взгляд, как врач на больного.

– Несколько раз всего поглядел.

– Ты её знаешь?

– Да, она из нашей группы, тихая, совсем незаметная, зовут Нина. Старомодная, как её имя.

– А не возникало чувство неприятия при виде этих растрёпанных волос, желания наказать? Слегка поприжать эту самую шею? А?

– Ну, папенька...

– Без папенька.

– Нет, гражданин следователь, не возникало.

– Подумай, вспомни.

– Если вдуматься глубже – хотелось поправить, неприятие лёгкое было, – начинаю сдавать я под напором папенькиной энергетики.

– Значит, хотелось дотронуться.

– Когда поправляешь, наверное, и дотронешься.

– Шея белая или загар?

– Белая... немного розовая... вполне невинная шея, знаешь, папенька, я бы лично не назвал её оголенной, там был скромный глухой воротничок.

– Юбку короткую носит?

– Сейчас все носят короткие юбки.

– Она носит?

– Да... Папенька... и зачем вы меня определили на филологический факультет? Здесь ведь куда ни глянь, всюду одни женщины. В политехническом мне было бы гораздо проще учиться.

– У тебя гуманитарные склонности, – с некоторым пренебрежением отвечает папенька, быстро-быстро пишет, и допрос продолжается.

Когда стемнело, он включил свою любимую настольную лампу. Выясняется, что без исправления мне и на этот раз не обойтись. Идём в карцер, переделанный из ванной комнаты. Папенька застёгивает титановые браслеты, прикованные к стене, на запястьях и зачитывает приговор: семь суток на хлебе и воде. За этот срок я должен написать очерк о герое войны гвардии майоре Петровиче, папенькином друге. Писать и спать надо на полу, зато времени предостаточно, потому что лампочка в ванной не выключается.

Папенька закрывает дверь на засов и уходит.

По утрам я делаю зарядку, гремя настоящей цепью, и стараюсь держаться бодро, как истинный большевик в царском застенке, читаю, пишу очерк о героизме Петровича. Руки отекают от браслетов, и всё тело болит после ночи на полу, будто охаживали палкой, но в этом нет ничего необычного: всё как всегда.

Через неделю, час в час, срок оканчивается, папенька снимает наручники, проветривает помещение вентилятором, и у нас снова получается ванная комната.

Он просит попытаться вспомнить о той девушке, её шее, но мне не хочется даже думать об этом. Папенька доволен. Лезет обниматься и хрюкает поросёнком. Он забавно умеет хрюкать. Мы оба посмеиваемся над моей шаркающей походкой, я никак не могу вполне распрямить свои члены, добираюсь еле-еле до кровати, и, не в состоянии расслабиться, скрючиваюсь на мягкой, тёплой поверхности. Боже, как хорошо жить. Папенькин насмешливый голос доносится до тухнущего сознания:

– Выздоровел, голубчик? Сполз с варенья?

– Отболело, отплакало, папенька, – шепчу я и засыпаю в полнейшем блаженстве.

Через три недели очерк о гвардии майоре, с лёгкой папенькиной руки, уже опубликовала областная молодёжная газета. Не обошлось, наверное, без Совета ветеранов, где папенька состоит заместителем председателя. Мне весьма стыдно понимать это, однако счастье моё гораздо больше моего стыда.

Как ни странно, один из молодых занозистых факультетских литераторов, которых хлебом не корми, дай вывести кого-нибудь на чистую воду, завёл вдруг со мной беседу на равных, хоть прежде совсем не замечал, а теперь даже пригласил на их собрания в университетском подвале по пятницам. Я скромно и с достоинством пообещал прийти, а про себя, как молитву, повторял любимую папенькину поговорку: «Не радуйся – найдёшь, не плачь – потеряешь», только это и помогло устоять на одном месте и не запрыгать от радости.

Что до Петровича – конный диверсант времён Отечественной разыскал меня в университете и, запросто душевно обняв, сказал: «Уважил, уважил старика». Дело было возле буфета, в главном корпусе. Гвардии майор трудится в университетской хозчасти снабженцем и знает, где можно отловить такого студента, как я.

– Зайдём, – предложил Петрович, – угощаю.

В буфете мы взяли по стакану молока да по паре пирожных на брата, не потому, что Петрович скуповат, просто ничего другого здесь не бывает. Настроение у меня было превосходное.

Ещё в очереди за пирожными я заметил впереди знакомую шею, из-за которой недавно претерпел, и поспешил отвести глаза в сторону, чувствуя, что папенькина метода верна, и мне совершенно не хочется на неё пялиться. К сожалению, она также меня заметила. Выходя из буфета, остановилась возле нашего столика, и спросила, в какой аудитории будет следующая пара.

От страха перед грядущими неприятностями я вмиг сделался косноязычным. И начал подробно объяснять. Запинался, краснел, махал руками, а сам в это время с отчётливым ужасом пытался представить, в какой форме Петрович перескажет всё происходящее с подробностями папеньке, а уж тот сопоставит факты (в деле сопоставления и систематизации папенька профессионал).

Меня слушали Петрович, однокашница и все посетители буфета. Никто не желал прервать. Ниночка вежливо ждала конца бесконечных заиканий. Даже не представляет, балда осиновая, что я из-за неё неделю просидел на цепи, как какой-нибудь опасный зверь.

Но, скажите на милость, какой из меня зверь? В лучшем случае комнатная собачка, дрессированная ходить на парашу. Ещё я думал, слава богу, что однокашники видят во мне рассеянного отличника-зубрилку, с вечной полуидиотской улыбкой, боящегося девчонок как огня, совсем дохлого, и часто, понедельно, болеющего.

Вообще-то, совсем неплохо, что люди малолюбопытны. Зря Пушкин расстраивался.

Наконец замолчал, посмотрел на Петровича, отяжелевший взгляд которого совсем утонул в молоке, и понял, что гвардии майор будет вынужден доложить полковнику. Ему очень не хочется это делать, но он обязан. На Петровича изначально возложена такая ответственность. Только на первом курсе я по наивности каждый раз удивлялся и радовался, что мы с ним так часто сталкиваемся в университете.

– До свидания, Петрович, – говорю я другу нашего маленького семейства, – мне пора.

– Да уж, известно дело, свидимся, неровён час, конечно, до свидания, Женька, эхма, жизнь такая, всё в бегах да в бегах.

А дома папенька уже всё знает. Хмурый.

– Она? Давешняя, с шеей?

– Она. Но ты напрасно думаешь. У меня нет абсолютно никаких чувств. Был вопрос – где будет лекция, я ответил и ничего больше; все ведь друг у друга спрашивают, когда не знают, да у нас расписание меняется каждый день! А тут Петрович...

– Со стороны виднее, дозвожь мне судить.

Папенька сердит и задумчив. Он решается на что-то. Мы не идём в кабинет на допрос, стоим в коридоре, и ноги мои наполняются свинцовой тяжестью.

– Я себя контролирую, папенька, – улыбаясь, говорю ему.

– Перестань врать, голуба, – с досадой и сожалением произносит папенька, кладя огромную руку мне на плечо. – Отчего ты, как муха, всякий раз на варенье падаешь, вот что беспокоит. Ты выучись сначала, получи высшее образование, поработай, да поработай хорошенько, стань человеком-то, заслужи моё доверие. А пока я тебе не верю. Внутренне ты слаб и фортель можешь выкинуть в любую минуту, хотя прекрасно знаешь, что закодирован от всяких там поцелуев и шур-мур. Разве я тебя не предупреждал? Разве не говорил с тобой на эту тему, бессовестная душа?

– Предупреждал, папенька. Я помню. Я всё помню и не собираюсь никого подводить. Это не в моих интересах.

– А чего делаешь? – взрывается папенька. – Меня хочешь под монастырь подвести? Неужто так трудно обойтись без них пока?

– Я могу, папенька, могу, честное слово, мне совсем это не трудно. Вы зря, вы напрасно думаете...

– Молчи, знаю твою песню.

– Хорошо, папенька.

– Так. Кончишь университет, стукнет тебе двадцать два года, к тому времени, надеюсь, сформируешься как цельная законопослушная личность, проведём тестирование, посмотримся у специалистов, и раскодируем, женись – не хочу.

– Спасибо, папенька.

– Не благодари раньше времени. Посидишь две недели в карцере. Надо раздавить гнойник, страстишку эту.

– Хорошо, папенька.

Ночью мне приснилась маменька: ужасно бледная и полупрозрачная на фоне то ли солнца, то ли лампочки, которая всегда горит под потолком карцера. И хотя никогда прежде не видел её, но тотчас узнал и страшно обрадовался.

– Маменька, маменька! – закричал я восторженно, – это ты? А папенька говорил, что тебя совсем не было.

– Я, милый, я, поди сюда скорее, поцелуй свою маменьку, мы так давно не виделись.

Я побежал к ней, будто бы в сияющий свет через туман, да вдруг остановился:

– Но, маменька, мне папенька запретил с женщинами целоваться.

– Да какая же я тебе женщина, глупый, я маменька твоя.

Обнял я маменьку, поцеловал и заплакал от счастья, и такой на меня свет пролился, что всё сделалось ясней ясного.

Тотчас проснулся в карцере, чувствуя в голове необыкновенную просветлённость, а на сердце радость и облегчение.

Затмение моё кончилось в эту минуту: вспомнил я маменьку и всё-всё с ней связанное, и прослезился. Счастье-то, счастье какое!

Надзиратель на допрос меня поволок, но нам это не внове, то-сё расспрашивает, и про маменьку тоже. Тут я ему и сказал, есть, мол, у меня маменька, святая женщина.

Как он взъярился, закричал, дьявол бешеный, с кулаками набросился, в карцере грозился сгноить, но я ему только в лицо рассмеялся, не зря ведь в народе говорят: от тюрьмы да от сумы не зарекайся, а родню маменьку не забывай. Я-то, идиот, ягодку какую-то в голове держал всю жизнь, а маменьку забыл. Ну да нынче, шалишь, и кулаком из меня не выбьешь.

Молчу, разбитыми губами усмехаюсь, как он орёт, что, мол, нет у меня маменьки и не было никогда, а был папенька, и этот папенька – он сам.

Здрасьте вам, приехали, тюремщик в родню набивается. Вот чурка стоеросовая. Всем давно известно, что папеньки у меня сроду не было, а была только маменька, святая женщина.

В камеру поместили. На окнах решётки железные. Кругом стеллажи с книгами, совсем как прежняя моя комната, где жил я с маменькой. Какие-то прохиндеи подменили книги, подсунули на неизвестных языках написанные, да и языков таких на свете нет, то ли я английского с немецким не знаю? Пробовал читать, хоть бы слово одно разобрал. Сбросил их на пол и стал топтаться сверху, чтобы неповадно было меня обманывать.

Надзиратель снова ворвался, раскричался, растолкался.

Плюнул я на всё, решил сам себе написать роман века о гвардии майоре Петровиче. Почувствовав необыкновенный прилив сил, сел за стол, взял карандаш, бумагу и принялся строчить с бешеной скоростью. Тотчас придурошный нарисовался; бегаёт кругом, чему-то радуется, хлопочет, авторучку предлагает, но я его проигнорировал, конечно. Балзак за ночь исписывал двадцать страниц, я тотчас тридцать намарал в блестящем стиле, потом все порвал, порвал, порвал на мелкие кусочки и вверх подбросил – пошёл снег забвения.

Маменька наемдни меня навещала. Мы с ней вели долгую успокоительную беседу, я немного поплакал от счастья.

Надзиратель страшно ругается и рукам волю даёт.

Врезал ему хорошенько, от души, чтобы знал, свинья в ермолке: ежели я диссидент, это ещё не значит, что лупить меня надо ежедневно. Теперь за дверью стоит и всякую ерунду собирает, всякую всячину; будто, к примеру, маменька моя от меня отказалась, или что папаша был маньяком-насильником и убийцей. «Хотел тебя воспитать по Макаренко, – кричит, – человеком вырастить, жизнь на тебя положил... да всё зря, зря».

А я в ответ: «Чего, дяденька, вы до старости в надзирателях трётесь, из тюрьмы на покой не уходите? Пенсии не хватает? Или скупердяйство заело? Жизнь провели вы в тюрьме, в тюрьме и помрёт!».

Решил больше его совсем не замечать. Пускай себе бесится. На улице, кстати, какой день чёрт-те что творится: утром вроде лето, вечером листья жёлтые, ночью снег валит, всё перепуталось в природе, экологический кризис, наверное, наступил.

Между прочим, на этот счёт давно предупреждали знающие люди. Надзирателя тоже вроде подменили. Тот, прежний, был здоровенный болван с волосатыми кулаками, чилийская горилла, хунвэйбин, одним словом, а новый – седой весь, скукоженный старикашка, чего с него взять? С придурью, зараза, скулит под дверью: «Женька, папенька я, папенька твой!». Господи помилуй, в таких условиях приходится творить!

Но я на него не реагирую. Пишу свои произведения пальцем на стене, и тут же запоминаю их, как Аркашка Гайдар, он как-то хвалился, что помнит свою «Голубую чашку» наизусть, и предлагал поспорить на лодочный мотор, но куда, куда Аркашке до меня! Жидковат будет, ежели по гамбургскому счёту брать, хоть и командовал полком в семнадцать лет, не люблю я, признаться, полковников, особенно тех, что заложников расстреливают, гвардии майоры – те как-то получше смотрятся, попроче, почеловечней. Взять, к примеру, Мигель де Сервантес, совсем другое дело, – писал бессмертные произведения и писал себе, как и я, телесно изнывая в тюрьме. То в плену у мавров, то за растрату в Испании сидел, а я не знаю, за что маюсь. У нас в России все не знают, за что сидят. Страна такая.

Иногда в моей голове, словно на стене ветхозаветного дворца во время пира, воспламеняются огненные строфы, и радостный, счастливый восторг охватывает душу: что за чудные картины возникают в видениях, какие трагические судьбы творит тогда мой бедный разум, воспарив птицей в бурных потоках воображения. Я переживаю необычайный подъём чувств, создавая новую величественную вселенную, испытывая бесконечные мгновения счастья, почти столь же радостные и возвышенные, какие выпадают при редких встречах с дорогой маменькой, столь же светлые и чистые, как её слёзы. И я пою или плачу.

Проклятый старикашка, этот цербер за дверью, мешает, хнычет и хнычет: скажи папенька... скажи папенька... ну скажи папенька... Вот ведь навязался на мою голову, олух царя небесного, и, чтобы не слышать его бреда, я затыкаю уши и громко читаю своё произведение вслух по памяти: СЕЛА МУХА НА ВАРЕНЬЕ, ВОТ И ВСЁ СТИХОТВОРЕНЬЕ! Показываю ему язык, строю зверскую рожу.

Вот уж тогда и он рыдает взахлёб!

СТАРИК И ЕЛЕНА

Старик жил один в пустом доме, ему было семьдесят восемь лет, он считал себя вполне крепким, и хозяйствовал самостоятельно.

Изредка по выходным дням его навещали уже пожилые дети, вылитые в покойницу старуху: без надобности суматошные, чернявые, крикливые, как галчата. Приносили по обыкновению холодец и присохший к тарелке кусок торта. То и другое он тут же им и скармливал.

Напившись чая, дети веселели, шумно отдувались, говорили о деньгах, ценах на базаре, о своих детях, мельком заглядывая во все комнаты, будто надеясь там кого-нибудь застать, а в конце, уже стоя на пороге, долго прощались пронзительными, похожими на ругань голосами, отчего у старика закладывало уши. Осторожно расставив руки в стороны, спускались по ступенькам высокого крыльца без перил, похожего на помост, и уходили. Старик наблюдал, как они десять раз хлопнут калиткой, прежде чем щеколда встанет на место, и после, раздосадованный чем-то, возвращался домой мыть посуду.

В тот день с утра пораньше он стирал на кухне бельё, как вдруг внутри головы хлётко лопнул пузырь с горячим варом.

Старик очнулся на скользком от пролитого щёлока полу, – рядом валялись мокрые подштанники, рубаха, и лежало корыто.

Он привстал на карачки, с трудом выпрямился и, мотая перед собой длинными руками, подошёл к зеркалу над умывальником. Оттуда таращилось красными глазами пепельное лицо с острым восковым носом. Сердито отвернулся.

Согрел по новой на газе кастрюлю воды, достирал бельё, а к вечеру почувствовал, что боится ночевать в доме один: какие-то невидимые мягкие волны время от времени приподнимали его и, качнув, неслышно опускали на прежнее место. "Эка обносит, – думал старик, сосредоточенно хватаясь за стену, – придавит безноса ночью в постели. Как пить дать придавит".

Он торопливо открыл ящик комода с бельём, достал из-под самого низа не надёванный смертный костюм приличного траурного цвета, отлежавший без дела десять лет, туфли того же назначения, которые от долготы ненужного существования ссохлись и не лезли на ноги. Старик швырнул их в угол, обул привычные, разношенные, взял с собой тысячу рублей денег и ушёл из дома на вокзал. "От смертного костюма много не убудет, если в нём разок съездить в одно место".

На вокзале старик отстоял великую очередь, купил билет, и, сев в поезд, сразу уснул на своей боковой нижней полке.

Проснулся утром.

Окна в вагоне не открывались по решению пассажиров с детьми, опасавшихся сквозняков. Стояла страшная духотища, пахло туалетом. Он ощущал, что весь пропитался запахом грязного матраца, большие ноздри его острого носа яростно отдували едкую вонь

прокисшего лимонада. Умылся, цедя из цирюльника маслянистую воду, торопливо размазывая её по лицу, отчего то сделалось сальным и кололось быстрорастущей, словно бы стеклянной щетиной.

Ни с кем из пассажиров старик не сошёлся, даже с соседом напротив не поговорил – сделал вид, что не услышал вопроса. Сидел, возвышался на своём боковом месте, будто сглотив палку: худой, в простой рубахе с распахнутой грудью, похожий на иссохший белый пень, с которого давно сошла кора.

На третьих полках тесно прижались друг к другу чемоданы в ремнях, испускающие сладкий аромат зрелой вишни. Их хозяева, южные люди, тараторя по-своему и воздевая руки кверху, то и дело проверяли груз, – поезд тащился еле-еле, отчего мусорный ящик в тамбуре был забит до отказа гнилой ягодой.

Старик давно раскаялся в путешествии, однако хранил прежний строгий и высокомерный вид, даже если рядом сновали детишки.

Он устал. Не хватало сил на малейшие простые движения, а тряска выбивала последние мысли. Старик постоянно дремал: голова белым созревшим плодом каталась по груди, билась о переборку, и ему чудилось, что до сих пор стирает бельё, изо всех сил ездит зажатой в кулаке тряпкой по доске и никак не может выехать потока льющейся грязи.

С самых молодых ногтей все звали его Александром.

Когда гнал ранним утром квартальное стадо из одиннадцати соседских коров на берег реки, заросший тальником и осокой, маленький, в отцовском старом пиджаке чуть не до пят, с длинной палкой кнута на плече и бесконечно волочащейся сзади плетью, то рано поднявшиеся по своим делам хозяйки говорили: вон Александр погнал стадо, значит, половина шестого время.

Возможно, гордое имя приклеилось за раннюю самостоятельность, может, за гордый постав головы, или за то, что никогда никому не заглядывал в глаза, а, говоря что думает, смотрел куда-то за горизонт. Горизонт доступен всем, при любом росте, но не всяк туда глядит.

Многочисленные шайки, кочующие по берегам той же реки, что и стадо, не слишком его донимали. Он умел щёлкать кнутом так, будто в разгар грозы раскалывалось пополам чёрное небо. И тут же запросто давал любому попробовать испытать свои силы. Часто кнут забирали пощёлкать и больше не возвращали, он легко расставался с единственной своей достопримечательностью, тут же сламывал ивовую ветку потолще, и назавтра на плече был точно такой же, благо отец работал на кожзаводе и неликвидных обрезков ремней в сарайке хоть завались.

В детстве Александр мечтал сотворить лучший в мире кнут без узлов, не для работы, а исключительно для красоты, представлял, каким он будет, во всех подробностях, но руки так и не дошли: люди перестали держать коров, пастух вырос, окончил восьмилетку, выучился на шофёра, стал работать на товарной базе крайисполкома.

Работа оказалась хорошей, дающей доступ к любому дефицитному товару, начиная от мебели и водопроводных труб до самых последних мелочей, коих в магазинах днём с огнём не сыщешь, а если сыщешь, так в очереди не настоишься за всем подряд. Благодаря этому построил дом, не дом – дворец, высота комнат под четыре метра, и всё у него в доме было, – и водопровод первым на квартале протянул от уличной колонки, и отопление водяное устроил, и бойлер для горячей воды с электрическими тэнами приспособил. Даже ванную комнату в частном доме предусмотрел на удивление всем.

За огородом смотрела жена Елена, этого он не касался. В его распоряжении во дворе две мастерские – слесарная и столярная.

Жизнь складывалась неплохо.

В глаза и за глаза соседи называли его Александром за то, что жил трезво и самостоятельно – сам себе хозяин. Когда что подвезти надо – шли к нему, будь то шкаф

из магазина, или швейную машину в ремонтную мастерскую, а то просто доски с пилорамы подкинуть. Да хоть комод сватье в деревню. После работы совершал одну езду по таким услугам, начальство знало и позволяло, оплату брал небольшую, но вместе с авансом и получкой набегала в месяц профессорская зарплата. А за такие-то деньги, да имея связи на всех базах города, можно увешаться коврами-гобеленами, заставиться трюмо-шифоньерами с ног до головы.

Так что дом у Александра – полная чаша.

Уважение в народе, хорошая работа, любовь красивой жены. Живи себе и радуйся.

Но Александр молча полагал, что чаша его чуть не полная. Одной капли всего не хватает, и толком не мог понять, какой именно.

Однажды ехал по делам, глядь – что-то блестящее, вишнёво-красное валяется рядом с дорогой. Вышел посмотреть, а это фигурная ножка старинного стола в грязи лежит. Не очень большая по размеру, а тяжеленная, будто из чугуна сделана. Скорее всего, дуб морёный. Александр забросил её в кузов.

Вечером взял в руки, присел на крыльце покумекать, что бы такое сотворить для хозяйства полезное? Вращал на коленях то так, то этак – ничего в голову не идёт. Слишком тонко выточена, и, похоже, ни на что другое кроме ножки для стола уже не годится, но не будешь же из-за одной ножки целый стол заказывать. Одно, пожалуй, и остаётся, что в поленницу до зимы кинуть.

Елена мимо пробежала из огорода, где поливала грядки в резиновых галошах на босу ногу, тоже заинтересовалась:

– С чем нянчишься?

– Ножка от стола, – сказал муж, не глядя в её сторону, но чувствуя рядом голую белую коленку.

Полы халата намокли, прилипли к бёдрам. От них веет огуречными листьями, что в сгустившейся темноте начинают лизать икры и щиколотки десятками шершавых влажных языков, вызывая мурашки по всему телу, а ещё – морковной кудрявой ботвой, сладко упавшей навзничь после обильной вечерней поливки. Захотелось встать и пойти следом за ней в дом.

Так что же, кинуть в поленницу? Жалко, красивая вещица.

Елене двадцать пять. Физически очень сильная молодая женщина. “Девки наши на работе говорят, что шибко уж я здоровая, от того и детей пока нет”. У неё крепкое, будто налитое тело, ровное, белое, как у мраморной статуи греческой богини, но гибкое и очень тёплое.

Стоит ему сейчас войти в сенцы, молчаливо стоящая и ждущая там Елена бросится на шею и ну всем весом валить – бороться...

Потом бегут в летний душ, по дороге роняя одежду куда придётся, и там, обнявшись, надолго замирают стоя в темноте, будто засыпают, а сверху на их прижатые друг к другу висками головы обильно льётся горячая, нагретая за день живая вода. В ней так много солнечной энергии, что темнота маленького внутреннего помещения расцветивается голубыми и оранжевыми кругами, видимыми сквозь опущенные веки. Наслаждение длится до тех пор, пока солнечная жидкость не вытечет вся, до последней капли. За это время они успевают прочувствовать свою общую нерасторжимую цельность в данном мире и ещё немного понять, что такое счастье.

Вдруг осенило: из этого можно сделать ручку для кнута! Да, отличное выйдет кнотовище: небольшого размера, ухватистое, красивое, как раз о таком мечтал в детстве. Сносу ему не будет.

От радости подбросил находку в воздух.

– Сделай себе куколку, – проходя мимо, Елена щёлкнула его по затылку.

Поздним вечером, когда легли спать, жарко обняла. Пробузыкались до пяти утра, два раза только на пол с кровати сваливались вместе с периной и подушками.

Садясь в кабину, Александр почувствовал себя новичком в шофёрском деле: руки тряслись на баранке словно с большого перепою. Машина ревнивой любовницей мстила на каждом повороте: “И пьёшь, и ешь, и спишь с женой? Зато умрём с тобою вместе!”.

Весь день ездил тихо-тихо и кое-как. От подработки отказался.

Сразу после ужина отнёс дубовое изделие в столярку, начал строгать на верстаке, словно по железу. Ремни достанет на кожзаводе, сошьёт жилами без узлов ровно семь метров. Таков будет его стандарт.

Ручка получилась элегантная, размером небольшая, кнутовищем её не обзовёшь, увесистая, и сидела в пальцах как влитая. Несколько вечеров потратил на то, чтобы довести до ума, шлифовал сначала крупной, потом мелкозернистой наждачкой. Отполировал до блеска.

Выписал на базе набор для резьбы по дереву, что на продажу в магазины не поступали, распределялись только для скульпторов через союз художников. Без всякого плана, даже без наброска повёл рисунок по твёрдой, как мрамор, поверхности. Инструмент быстро тупился, но и здесь Александр добился своего: узор состоял из двух ручейков, которые то сливались, перекрещиваясь, то снова разбегались, покрывая дерево затейливым орнаментом со всех сторон. Такое не придумаешь на бумаге. Это приходит в голову постепенно, когда дело делаешь, а душа поёт, тогда каждая прожилка займёт нужное место.

Когда резьба была нанесена, ручка снова подверглась тонкой шлифовке, затем Александр покрыл её тёмно-вишнёвым лаком на два раза. Высушил. Блеск!

На мебельной фабрике выпросил медных гвоздиков с красноватыми головками, и осторожно проклепал ими весь узор по ручке медью. И снова покрыл лаком. Теперь изделие имело вид произведения древнего восточного искусства. Он приделал к ней семиметровую кожаную плетёнку.

Из куска бронзы выточил специальный держатель, привинтил у входной двери, и повесил на нём свое произведение.

Плетёнка свешивается до пола, изгибается чуткой змеёй в кольцо на разноцветном кружке, недавно сотканном Еленой из старых кофт.

Когда всё было готово, позвал жену похвалиться:

– Смотри!

– Что это? – удивилась Елена. – Зачем? Что за домострой за такой?

– При чём здесь домострой? – не понял Александр. – Красивая штука получилась?

Елена нахмурила белый лоб, и буквально ни с чего вдруг пошла кричать в голос:

– Зачем плетёнку в доме навесил, да ещё прямо у входа? Люди придут, что подумают? Что ты меня этой плетёнку лупцуешь, что ли? Уму-разуму учишь?

– Э, глупости говоришь. Это же... произведение искусства, понимаешь? Как на выставке! Красиво. Душу греет.

– Ничего красивого здесь нет. Тёмное мужицкое варварство да толстый намёк на тонкое обстоятельство. Дескать, ты, жена, в доме ходи по одной плашке, а не то быстро выучу тебя, дуру, уму-разуму! Убери сейчас же! В печь брошу!

– Только тронь, попробуй, – Александр многозначительно посмотрел в окно на крышу чужого дома, по которой пролегал в их местности горизонт.

Произведение самодельного искусства осталось висеть у входной двери. А вот отношения между мужем и женой с того самого дня заметно охладели. Борьба прекратилась и в постели, зато утром он просыпался очень рано, чувствуя в руках невероятную застоявшуюся силу, вставал, снимал со стены бич и шёл во двор тренироваться.

Нет, не щёлкать и стрелять, когда соседи в округе ещё спят мирным сном. Напротив, задача состояла в том, чтобы совершенно бесшумно сбить с дерева выбранный

взглядом лист или попасть в бабочку, уснувшую на стене дома, или сшибить стрекозу с освещённого ранним утренним солнцем забора.

Долго ничего не получалось. Первым пал листик. Затем Александр научился срезать половинку, или третинку – ох и много нарезал с веток. Со временем исхитрился попадать кончиком плети в бабочек и осторожных стрекоз, а как-то по случаю снял с ветки заспанного воробья. Бич сказал тихо: чик!

А он даже и не хотел. Просто заметил и посмотрел пристально – рука сама сработала, и пёрышки рассыпались по земле возле калитки, упали, покружившись в воздухе, на почтовый ящик и поленницу.

– Вот ты чем увлёкся, – произнесла Елена, выходя из сенец. – Я так и знала, добром дело не кончится, душегубством занялся!

– Не твоё дело.

Принёс мусорное ведро, совок, и, как всегда, чисто прибрался во дворе после утренней тренировки.

Со временем достиг полного совершенства в управлении бичом. Бесшумно снимал один-единственный лист с берёзы, тот, на который смотрел – по желанию, как по заказу. Это было чистое высшее искусство, которому посвящалось уйма утреннего времени.

Искусство, которое женщине никогда не понять.

Ведь он, Александр, умеет делать то, чего никто в мире делать не умеет, и делает это исключительно для собственного удовольствия. Лучше всех! Всегда лучше всех, без помарок, бесшумно, образцово-показательно. Десять раз из десяти. Сто из ста.

Он добился полного совершенства, и получал от этого самое радостное наслаждение. Его чаша жизни полна по самые краешки.

Ему захотелось восстановить отношения с женой в прежнем объёме. Теперь-то она понимает, что бич к ней совершенно не относится, и в том, что висит у двери, нет никаких намёков. Чего сердиться? А в птичку попал случайно, всего раз. Что, ей листы жалко на деревьях, что ли? После тренировки Александр подметает за собой чисто.

Надо сделать ей душевный подарок – не флакон духов, а такой, чтобы на всю жизнь и удивительный.

Александр долго думал, и придумал – заказал художнику написать портрет Елены маслом.

Художник был знаком ему много лет, человек пришлый, посторонний, но жил на их квартале с давних времён. Снимал самую маленькую комнатку в доме Натальи Ивановны, по хроническому безденежью расплачиваясь за место картинами, на полстены каждая.

Картины эти большей частью изображали обрывистый морской берег, мрачные чёрно-зелёные скалы и белый домик, прилепившийся высоко среди гор, как ласточкино гнездо. Мазки на полотне размашистые, аляповатые. Изредка писал портреты на заказ, те получались весьма похоже, потому что в них художник старался удовлетворить низким вкусам местной публики, кисть держал строже, краской в припадке буйной фантазии не разбрасывался.

Александр слегка презирал художника, который жил за счёт своего искусства, про себя полагая, что творчество должно приносить безотчётную чистую радость, а коли начнёшь на своём даре зарабатывать, то какая там радость останется? Нет, искусство – отдельно, работа – отдельно. А если вместе, то выйдет на поверку нищета и прозябание, а в результате ещё и пьянство.

Страшно беден был местный художник, жил одиноко, без семьи, в съёмной комнате, а те небольшие деньги, что удавалось иногда выручить от продажи картин, тут же тратил на приобретение больших рам, холсты и краски. Но главным образом на водку. Закладывал за воротник частенько, да и возраст уже серьёзный, за сорок. Небось запьёшь от жизни такой.

Шофёр сделал художнику заказ, пообещав хорошо заплатить, даже больше, чем тот попросил, но лишь в том случае, если Елена выйдет на портрете как живая. Иначе не даст ничего. Искусство должно быть совершенным.

– И нарисуйте её на фоне яблоневого сада, – с лёгкой улыбкой попросил Александр, хотя сада у них не было, а имелся простой огород с грядками.

– Хорошо, – легко согласился художник, – нарисуем.

И начал ходить, рисовать. Мольберт, краски, портрет каждый раз уносил с собой, не давал смотреть, как продвигается работа, говорил, что за неделю обязательно напишет.

Елена осталась холодна.

– Лучше в фотоателье сходить, – сказала она, когда муж вернулся с работы, а художника уже не было, – и дешевле, и карточка точнее, чем картина, показывает. А тут что? Малоет, малоет час подряд, а ты сиди, как дура неживая. Маляр какой-то. Совсем даже непохоже получается.

Александр стиснул зубы, промолчал. Раз не понимает человек изначально в творчестве ничего, словами ему бесполезно втолковывать, как слепому – радугу объяснять.

Но самому очень захотелось увидеть портрет, и в один из последующих дней заехал с работы пораньше, поставил машину, зашёл в калитку, на крыльцо, в дом.

Елена сидела на лавке. Художник не стоял у мольберта, а тоже почему-то сидел на той же лавке у окна, рядом, совсем близко, как бы слегка приобняв его жену. Муж успел заметить слетевшие с талии кончики пальцев и схватился за бич. Взглянул в расширенный на него зрачок испуганной Елены: чик! – и тут же вышел вон из дома.

Отогнал машину на базу, выключил двигатель. На проходной сдал путёвку, ключи, сказал, что заболел. Его что-то спросили. Он что-то ответил, и пошёл куда глаза глядят. Без документов, без ничего, где пешком, где на попутках уходил в чужой город, подальше от этих искусств, от своей ужасной ревности, от вытекшего глаза красавицы Елены.

Поначалу было всякое, потом ничего, прижился, и снова построил дом на окраине, правда, не такой хороший, как первый, так себе домишко, внеплановый, абы из чего, сошёлся с женщиной вне брака, не красавицей, конечно, но детей родившей исправно, и вот состарился. И вдруг сильно потянуло обратно на родину: “Наберу на могилку землицы немного и вернусь. Пусть, как умру, посыпят. А искусство – искус один, с ним грешить только да каешься, каешься и снова грешить”.

В четвёртом часу дня поезд прибыл на место.

Поддерживаемый соседом под руку, старик сошёл на перрон. Асфальт, как вагонный пол, дёргался у него под ногами.

– Возьми такси, – сказал сосед, – а то знаю я вас, старичьё, потащишься сейчас через весь город пешком, – быстро сунул что-то в ладонь, хлопнул по плечу и запрыгнул обратно в вагон.

Старик разжал ладонь, увидел трёхрублёвку.

Нужно было немедленно сделать очень важное дело, которое наметил себе, когда покупал в кассе билет, но какое именно – хоть убей, забыл.

Затоптался на месте, растерянно ища по сторонам взглядом зацепки, его толкнули раз, другой, третий, толпа отнесла от вагона, и он потащился за другими среди качающихся авосек, сумок, чемоданов, боясь оступиться и упасть в темноте на скользких мраморных ступенях подземного перехода. Только выпихнутый из огромных вокзальных дверей вспомнил, что собирался поцеловать родимую землю – это было главное, ради чего ехал. Не к Елене же, которая давным-давно умерла. Огляделся по сторонам. Целовать асфальт не хотелось. Кругом высотные здания, какой-то зелёный молодой парк, он растерялся совершенно, и даже подумал, что рехнулся и приехал не в тот город.

Однако низенькая обшарпаная половинка здания, несомненно, была тем самым роскошным вокзалом, которым гордились пятьдесят лет тому назад все горожане.

Старик выбрал нужное направление и пошёл крупным размашистым шагом под гору, чувствуя невесть откуда взявшиеся ловкость и силу, не спрашивая ни у кого дороги, не обращая внимания на ревущий поток машин, трамваев, троллейбусов... уж ему-то известны сии места.

Как раз тут. В первом ряду ватаги "подгорных" он самый удалой – волнами на широкой груди переливается чёрная шёлковая рубаша, из-под низко надвинутой на глаза шляпы-американки пронзительный с вызовом взгляд: «А ну, подь сюда, кто не боится...». Ватажка бурно загорланила, и навстречу им, откликаясь матерщиной, из переулков и дворов, нестройно стуча сапогами, выбегают нагорные парни и мужики. Взъяря себя, хлещут кулаками по заборам так, что доски сухо трескаются. Голосит уже чья-то жена или мать?

Старик выгнул плоскую грудь колесом, напыжился, высоким голосом завёл:

Эх, Нагорна, ты Нагорна,
Широкая улица,
По тебе никто не ходит,
Только мокра курица!

Прохожие бросали друг другу небрежные улыбки.

– Постыдились бы детей, – укоризненно сказала серьёзная женщина в очках, – взрослый ведь человек.

А старик, вытянув длинную шею, радостно водил кругом глазами. На нём играла шёлковая рубаша, скрипели сапожки, и кровь буйно захлёстывала голову: «Эх, потеха удалая!».

Прислушиваясь к здоровому, сильному гулу сердца, чего давно не бывало, он верил и не верил. Благодать! Оказалось, что родная сторона, которую бросил полвека назад, бежав, как от чумы, от страшной своей ревности, сохранила его молодость и теперь всё разом возвратила. Пятьдесят лет отошли в сторону, будто и не бывали.

Голод вдруг поднялся от живота к горлу, во рту щека к щеке присосалась. Голод был тот же самый, давний, до того здоровый, что, завидев будочку пирожницы, старик с квартал семенил к ней вприпрыжку. Отстоял очередь и купил сразу пять пирогов в одну бумажку, тут же зажевав горячее румяное тесто.

Он помнил всё. Он чувствовал себя таким же свободным и счастливым, как в малом возрасте, став пастухом квартального стада. Он шёл тогда и пел, до того нравилась взрослая самостоятельность: почему-то старик помнил себя со спины, быть может, это только сон о свободе. Видится круглый стриженный затылок и на плече длинный-предлинный кнут.

Первый пирог смял, ничего не почувствовав, второй был горяч, ему понравилось, третий тоже ничего, в четвёртом вместо риса с мясом оказалась совершеннейшая дрянь, последний лишь надкусил и выбросил в урну, только тут заметив, что вся очередь многоголовой, многоногой гусеницей с интересом наблюдает за ним бледными пятнами лиц. Отвернулся и пошёл дальше. В животе запрыгал тяжёлый ком, ноги также дали о себе знать, – в дороге распухли, просились на свободу.

Пройдя в какой-то закоулочный скверик с мозаичным фонтанчиком, разулся и спрятал ступни в пыльную травку. Старик снова ощутил себя пожилым нездоровым человеком.

Скоро, однако, вышел на знакомую улицу. Дома, как старые, давно не виденные знакомые, дивясь, тарачились на него покосившимися рамами, стояли осевшие, вросшие до половины окошек в землю.

Они неприятно поразили старика хлипким видом, и, кажется, говорили: "И ты, брат, не храбрись, и ты такой же". Он больше не проходил мимо скамеек, присаживался отдохнуть, и всё-таки в груди было очень хорошо, свежо, всё кругом родное хоть плачь,

а самая неизменная – она, матушка-земля. И ямы, и ухабы, пологие спуски и подъёмы улицы как были, так и остались. А от прежних берёз и высоченных тополей остались большие пни, глядя на которые старик понял до конца, сколько лет ушло.

Возле дома Кольки Фонарёва в песочке сидел сам Колька Фонарёв. Старик подошёл, сунул руку в карман за конфетой, обжёгся о пачку денег и спросил неуверенно:

– Колька, ты, что ль?

Колька не ответил, накапывая из ямы мокрый песок. Всегда это было у него наилюбимейшее дело – теремки строить песочные, амбары возводить из сухих палочек, сеновалы и прочие хозяйственные постройки. В детстве старик всегда играл здесь с Колькой. Сегодня тоже настроено порядочно домиков, гаражей, проложено дорог. Старик подсел рядом.

– Я не Колька, а Ник, – поднял голову Фонарёв.

– А почто амбары не строишь, как без амбаров-то? Сарай тоже нужны, погреба... Они начали ползать вместе в поисках хороших брёвнышек под строительство. Наделали амбаров, хороших сухих погребов, сеновал поставили: вот теперь и жить можно. Из ворот вышла баба и, недовольно оглядев старика, позвала Кольку есть.

– Не-е, – привычно взвыл Фонарёв, – сама иди, я ещё с дедой поиграю.

– Иди, иди, – шепнул ему старик, – а то хуже будет.

И точно. Баба подлетела ближе.

– Я те дам сама, я вот тебе дам, – закричала она, и старик вспомнил своих детей. – А ну, марш домой! И деда твой такой же дурень! Вырядился в костюме по песку ползать, да будет и ему выволочка!

Она подхватила упировавшегося Кольку за руку, а тот визжал, будто режут: "Деда, ты придёшь ещё играть?".

Старик оглядел смертный костюм. Колени мокрые, одной пуговицы на пиджаке не хватает, отряхнул песок: "Приду как-нибудь", – вздохнув, потопал дальше. Вот с покатою кровлей изба Роговых, вот Марфы, вот его...

Нынче здесь обитали два хозяина: и наличники окрашены в разные цвета, и крыша: одна половина под шифером, другая железная. Смотреть и то стыдно. Лена всё преподобная.

Один знакомый, с которым они случайно встретились на базаре лет десять тому назад, рассказывал, что бывшая жена давно продала одну половину избы, а сама доживала век в другой, пока вконец не заморила себя постами.

У неё появились странности. Ходила, например, по округе собирала, что кому не надо, всякое ненужное сломанное старьё. Люди давали и посмеивались. А после смерти Лены в сарае одних заварных чайничков с отбитыми носиками да без крышечек нашли штук полтора, и всякой другой ненужности не счесть, хоть самосвалом вывози. Старик слушал знакомого и не испытывал никаких чувств к выжившей из ума богомолке, которая по молодости была его женой. А уж ревности давно. Он просто не знал этой старухи.

В окошке виднелись розовые занавески, на подоконнике в банке из-под болгарского горошка рос кучерявый, мясистый алоэ. Калитка отворилась, сначала показалась голова, потом вытащилась вся баба с помойным ведром, размахнувшись, она длинно полоснула на дорогу и, заметив старика, приостановилась:

– Здравствуйте...

– День добрый. Такое значит дело. Жил я, гражданочка, здесь прежде, давно. Приехал землицы взять родной на память. Нельзя ли во двор зайти?

– Отчего же нельзя? Проходите, не бойтесь, собак у нас нет.

Старик заторопился, ныряя как в омут, ударился больно теменем о перекладину и, почёсывая голову, остановился. По двору были расставлены какие-то кадки с зацветшей водой, табором лежали доски. Заборы другие, валяется птичье перо.

– Да вы в огороде возьмите, там помягче будет.

Прошёл и в огород, где также всё совсем чужое и ничегошеньки не тронуло сердца, вытащил приготовленный пакет, сунул в него пригоршню земли из-под помидорного куста. Ему захотелось плакать, будто кто страшно обманул.

– А давно вы здесь проживали? – спросила женщина из вежливости, но старик не расслышал, он думал о своём. Всё пропало. Всё не то. Будто и не было его здесь никогда.

– Я муж Лены, должно, слышали?

– Нет. Не слышали. Да мы тут четвёртый год только как купили.

Ясно. Пошёл дом по рукам. А сенцы новые пристроены. Он попросил воды и зашёл за хозяйкой. Внутри дома пахло ребятишками, пирогами и хорошим борщом, допревавшим на плите. На том самом месте, где висело произведение его искусства, – аккуратный белый листок с распорядком дня школьника. Всё ушло, как в воду кануло.

– Картин не оставалось от прежних хозяев?

– Нет, не было.

Старик попил воды из кружки, попрощался и вышел. Дом его отталкивал, и он, не оглядываясь, пошёл по улице. Что вдруг вспомнил о картинах? Голова позванивает на каждом шаге, солнце напекло за день – фуражку-то забыл надеть, тетеря, когда на вокзал кинулся, а может, просто так, от старости сама по себе звенит и звенит, что теперь?

Дальнозоркими глазами старик заметил на скамейке у дома Натальи Ивановны парочку. Вот таким же приблизительно образом сидела Елена с художником. Если рассуждать сейчас, по старости лет, то ничем особым они не занимались, просто сидели рядом. И, конечно, по нынешнему разумению он не схватил бы чёртов бич, не стал бы кидаться на людей, уехал сам по себе куда глаза глядят, а они пусть как хотят. Сколь лучшей была бы тогда его жизнь, да и её тоже.

Старик вдруг пожалел обо всём.

Девушка на скамейке сидела изогнувшись в пояснице, будто встать собралась и закаменела. Он разглядел белеющие на её талии пальцы и подумал спокойно: "Ишь, приобнял, ну да, оно конечно, в первый раз посидеть этак – да, потом уж не сладко будет, известно дело, застыли – не шелохнутся".

Девчушка неуловимо повела плечом, и пальцы исчезли, лицо её сразу сделалось иным, обыкновенным, круглым и скуластеньким. До Елены ей, как до неба.

Старик хмуро поздоровался и попросил места отдохнуть.

"Принес тебя чёрт" – отчётливо читалось на лице парня.

Но старику отступать некуда. Непонятная сила заставила его подойти сюда – не то чтобы обозначился, и не то, что в доме этом квартировал когда-то художник, да самому себе иногда не объяснить, почему сделал так, а не иначе, вот и высился теперь над ними, а тёплый ветер вздымал на голове тонкий седой пух.

От чёрной его пары всё ещё крепко несло нафталином. Девушка, краснея, пододвинулась. Старик понимал, что они могут сейчас встать и уйти, хотелось привлечь их, и он начал разговор:

– Приехал через столько лет на родную сторону жену повидать бывшую, Елену, может, слышали? Вон в том доме жила...

На него смотрело весёлое, ещё немного красное личико, на котором ничего не отразилось.

– Не знаю, мы недавно здесь. Может, он знает. Он у нас местный, – девчонка весело рассмеялась.

Парень тоже ухмыльнулся.

– Бабка Лена давно умерла, лет десять назад, разве не знали?

– Знаю, – ответил дед, не мигая. – Здесь, – он показал за спину, – художник квартировал, картины разные рисовал... он что?

– Художник? – спросила девчонка недоверчиво. – Да разве может здесь жить художник? Вы ошибаетесь, здесь все местные, – она снова рассмеялась, показывая мелкие белые зубки.

Парень недовольно прищурил рыжеватые ресницы.

– Думаешь, художники только в Парижах водятся?

– Уж конечно не в вашем доме.

– А вот представь себе, в нашем! Только давно, до войны. Расплачивался за квартиру картинами, здоровыми, в рамищах. У нас этих картин, если хочешь знать, целая галерея была, штук двадцать, не меньше.

"Искусство – искус один и только", – думал своё старик. – Прошное снова наползало на него многопудовым весом, он расслабленно откинулся, опершись спиной на забор, но двое ничего не замечали.

– Ха, галерея, что-то я не видела у вас никакой галереи, может, есть специальное помещение, где вы их храните?

Парень пожал плечами:

– Картин было много... давно, да так, не очень, конечно, хорошие... Висели по всему дому, и почему-то все тёмные, а после начали потихоньку убираться со стен, сначала в кладовку переносили, когда ковры покупали или мебель какую-нибудь, потом из кладовки в сарай, потом там места тоже не осталось. – Во! Знаю, где есть, хотите, покажу?

Старик захромал на обе ноги развалиной за молодыми мимо резного, высокого крыльца-веранды, где сиживала в былое время Наталья Ивановна за самоваром, принимая гостей, по огороду, мимо гряд, сарайчика-завалюшки, в самый дальний угол, где за кустами огромной жиреющей полыни под забором располагалась помойка. Молодой человек разочарованно обследовал пустые рамы с болтающимися кое-где клочками холста:

– В прошлом году ещё кое-где краску было видно, а нынче полный каюк. На будущий год полиэтиленом обтянем, и лунки с огурцами будем закрывать. Отец сказал.

Тяжело дыша, старик отвернулся от прислонённых к забору рам с обрывками, похожими на дерюжную мешковину.

«Вот тебе и работа на века, балаболка, – выговорил он мысленно художнику, – вот тебе и вечная память, шут ты гороховый. Ах, бог ты мой, и всё ведь, ни рожна, ни дна, ни покрышки!»

– Портретов никаких не осталось?

– Нет. Ничего дома нет. Да на них и в сарае уже ничего нельзя было различить, поэтому и выкинули сюда, что зря место занимать? Хотя... погодите. На чердаке можно поглядеть, там какая-то рухлядь была. Прошлый раз, как трубу с дядькой чистили, видел.

Он сходил за лестницей, приставил с той стороны, где темнело чердачное окно, и влез наверх с завидным молодым проворством.

Старик испытывал чувство, похожее на то, когда, надев праздничную рубаху, спешил на вечерку к Елене.

– Да, вот тут есть точно! – парень неосторожно стоял на краю покато́й крыши, потрясая непонятным предметом. От тряски слоями падающая чердачная пыль собиралась в бурые облака. – Я же говорил, прямо у трубы и лежало!

Портрет был безнадежно испорчен.

Несмотря на то, что хранился, как утверждал парнишка, под толстым слоем сухого тряпья, а сверху ещё и сажки. Цвета, правда, сохранились, но мазки отошли от холста, зашелушились и отстали. Картина будто оспой заболела, и всё-таки кое-что можно разглядеть.

Особенно когда они приставили её к скамейке и отошли. На некотором отдалении краски разом соединились, и старик увидел прежнюю Елену, бархатистые глубокие

глаза – правый и левый. Увидел давнюю, не свершившуюся жизнь, что провалялась на чужом чердаке никому не нужная, ожидая последнего часа.

– Ты прости меня, – сказал он, – помирать, вишь, пришла пора, а каково непрощённому умирать?

Спокойно, почти ласково Елена смотрела прямо перед собой, и даже сторонним молодым людям по тому взгляду сделалось ясно, что она-то давным-давно всё ему простила. Но старик продолжал стоять, молчать, будто и правда ждал ответа.

Потом подошёл к картине, провёл по лицу ладонью, закрывая уже навсегда прошлое, и краска, легко шурша, осыпалась, оголив серый скучный холст.

НЕВЫНОСИМАЯ РАДОСТЬ БЫТИЯ

Павлику было шесть лет, когда однажды вечером он вдруг ощутил полное и глубочайшее счастье, свалившееся на его голову неведомо откуда, и лишь много-много позже, сидя как-то на уроке биологии в школе, осознал, что произошло это в той же мере закономерно, в коей у известной собаки профессора Ивана Петровича Павлова, тоже как бы из ничего, возникал зверский аппетит при включении самой обыкновенной электрической лампочки, а в результате через прорезанную в животе дырку из специально вставленной туда трубочки в банку очень наглядно капал желудочный сок, доказывающий наличие у животных условного рефлекса.

На уроке Павлика заинтересовала именно подопытная собака, а вовсе не учёный на соседней странице, к аккуратной бородке которого были густо подрисованы мушкетёрские усы, а на лбу торчали дьявольские рожки.

Иван Петрович пристально вглядывался в свою экспериментальную животину, и было в этом прозорливом, почти ленинском взгляде нечто задумчиво-мечтательное, весьма роднившее его и с Витькой Голубцовым, который как-то, поймав голубя, отщелкнул ему портновскими ножницами обе лапки, подбросил вверх и, приставя ладонь ко лбу, следил: сможет ли сизарь сесть теперь на покатый купол церкви, и сколько времени продержится в поднебесьях в беспосадочном режиме?

Нет-нет, никто не спорит, конечно, учёный имел гуманистические соображения и старался во благо рода человеческого при планировании своих экспериментов, но, – думал Павлик, не отрывая взгляда от рожек, – вот если бы его самого резали каждый день помаленьку другие замечательные хирурги, пусть даже не во имя науки, а ради продления его собственной жизни, ну там трубочку в бок вывели и прямо в бутылочку, которая в кармане, чтобы туда моча капала, как у старика Сидоровича, потом бы гланды из-за ангины подрезали, а горлышко всё равно болит, так снова: "Тот раз мы тебя пожалели, да, видно, зря, надо было сразу полностью удалять пошлый атавизм, гнойные подушки эти, от них только инфекция в организме распространяется, рот шире открой! - и снова пистолет в глотку, петлю накинут и чик... – Чёрт, сорвалась, сестра, дайте другой инструмент!". Вот если бы он ежедневно помучался таким образом хоть бы с полгода, а лучше годик от обыкновенной каждодневной физической боли, Иван Петрович наш гениальный, то, интересно знать, посетила бы его замечательная идея с трубочкой?

Стал бы он резать пузо собаке и втискивать ей туда изобретение своё во имя будущего прогресса? Вот в чём вопрос.

Павлик к шестому классу переболел уже всеми детскими болезнями и принялся за взрослые, по полгода пролеживая в больницах, отчего доктора, что мужчины, что

женщины – без разницы, полистав быстренько медицинскую карточку, разговаривали с ним исключительно в ироническом тоне: ну что, моряк – с печки бряк, растянулся как червяк, позагораешь у нас пару месяцев в больнице? Вижу-вижу, тебе к этому не привыкать, вон какой здоровенный парнишка вымахал на казённых-то харчах! Скоро, брат, в армию идти. Плоскостопия нет? Нет. Вот, это главное, а остальное вылечим.

Отвечать полагалось тоже весело и односложно, по-мужицки: да нам запросто, мы люди привышные! Павлик отвечал, внутренне ужасаясь очередной грядущей боли, и на самом деле как огня боялся ироничных, непогрешимых и неподсудных земных богов в белых халатах: весёлых, чистых, образованных, смелых, до чёртиков похожих на молодых киногероев-шестидесятников с экранов большого кино, высмеивающих вышедшую из моды жалость, а тем более – совершенно доисторическое милосердие, блестящих профессионалов своего дела, которым всегда полагалось улыбаться в ответ, как улыбались кинобольные, восторженно глядящие на своих спасителей снизу вверх, а главное – до заикания горячо благодарить при выписке, что они так здорово поставили на ноги и, кстати, ведь совершенно бесплатно. Желательно также сделать запись в книге благодарностей за блестящее исполнение врачебного долга и быстрое выздоровление.

На том уроке Павлик разнервничался, думая о предстоящих очередных койко-неделях, и пристал к биологичке с дурацким вопросом не по теме: что стало с дворнягой, принёсшей Павлову мировую известность?

Что стало, что стало, ну какая разница, что с ней стало, тут и про самого Павлова нельзя было сказать, что он нобелевский лауреат, а в бога верил. В бога верил, а живых тварей мучил, хоть и с благими намерениями. Ну, кто без греха, пусть первым и кинет...

Одним словом, молоденькой биологине Наталье Санне о судьбе животного, естественно, ничего не было известно, однако почему не предположить, что такая знаменитая собака (как Белка и Стрелка, чем она, в конце концов, хуже?), внёсшая своим боком скромную лепту в копилку человеческих познаний о мире, была по окончании замечательного опыта благополучно зашита, и дальнейшую жизнь провела в тепле, холе, подкармливаемая сахарными косточками из домашних щей профессора и котлетками от многочисленных экскурсантов, которым она демонстрировалась как историческая и научная достопримечательность. Вот.

Выразившись в таком ключе, Наталья Санна посмотрела в глаза ученику: "Ну теперь-то твоя душенька довольна?".

Да. Да. Да. Павлик почти успокоился за четвероногого друга с дырочкой в правом боку, который, вероятно, из чисто педагогических соображений, был нарисован в учебнике лёгким штриховым контуром, и запомнил бы только профессора и его условный рефлекс, если бы третьегодник Стручков не пошутил скверно, использовав затянувшуюся паузу на все сто:

– Это ей потом пришили вторую голову?

Все, как всегда, расхохотались над клоуном Стручковым, биологиня покраснела и стушеввалась, а Павлик, не без внутреннего сопротивления, но вынужден был признать, что хоть Стручков ничего не соображает ни в алгебре, ни в биологии, но по жизни прав: у профессора и его учеников, имелось, наверное, громадье других творческих планов, не менее дерзких, чем прежний, и они, планы эти, изначально отвергали саму возможность спокойной собачьей жизни в науке. С этим бессмысленно спорить, и нечего закрывать глаза котлетами от экскурсантов.

"Живодёр вы, дядечка, не хуже нашего Голубцова", – подумал Павлик, подрисовывая профессору из-под усов большие клыки, отчего нобелевский лауреат сделался похожим на старого доброго моряка, вылезшего из полыньи на страницу.

Биологичка двинулась дальше по теме урока, а внимательно слушающий её Павлик параллельно вспомнил про свои детские, непонятно откуда возникающие, счастья и, рассуждая шаг за шагом, пришёл к выводу, что все они были не чем иным, как условными рефлексам в своём предвосхищении событий.

Поздний летний вечер конца июня, того самого времени, когда в городе после жаркого пекла дней стоят бледно-серые ночи с неостывающими малиновыми зорями по краям неба. Чтобы заснуть в привычной темноте, приходится закрывать оконные ставни.

В комнате горел электрический свет. Здорово набегавшись за день и длинный нескончаемый вечер на улице, Павлик лежал на своей кровати, свесив голову вниз, и смотрел, как блестит пол.

Пол очень твёрдый, ровный и одинаково холодный, что зимой, что летом. Огромные плахи подогнаны так точно, что между ними ножа не просунуть, а поверхность покрашена лучшей блестящей краской. Это очень древний пол. Он с незапамятных времён является гордостью их немногочисленного семейства. Стены гораздо хуже: неровные, местами толстый известковый набел обвалился и видны кирпичи, потолок тоже не фонтан – три балки выпирают наружу, а по ним идёт провод к лампочке, света в окошки мало попадает, что ни говори – подвал есть подвал. Зато пол шикарный, ни у кого такого нет.

Он свесился с кровати уже по пояс, руки болтались как плети туда-сюда, не доставая коврика, как у настоящего кавказского всадника-джигита, что на полном скаку опрокидывался из седла вниз, повисая головой между мелькающими копытами, представляясь убитым, а потом лихо возвращался в седло и мчался дальше.

Никелированные ножки большой двуспальной кровати оканчиваются маленькими изящными колёсиками. Их выточил друг отца по заводу токарь Чесноков, с которым они всегда приходили к ним домой обмывать получку, и за вечер распивали пол-литра водки с долгими разговорами. Аванс обмывали дома у Чеснокова. Отец Павлика был модельщиком, делал формы для деталей, тоже хороший специалист, но не на все руки мастер, как Чесноков. Полгода назад он умер из-за открывшихся фронтальных ран в больших страданиях.

Чесноков не надолго пережил приятеля. Намывшись поздним субботним вечером в бане номер пять на улице Партизанской и выпив стопку в соседней рюмочной, он пошёл домой один с баулкой в руке и махровым полотенцем на шее, а на тёмной улице Героя Александра Матросова получил неожиданный удар по голове. У него выгребли из кармана полтора рубля мелочи, после чего отбросили с дороги в сугроб, где он и замёрз во сне с улыбкой на губах, а колёсики остались: четыре на ножках павликовой кровати, четыре на родительской. Чем-то они напоминали маленькие изящные копытца арабского скакуна.

И вдруг ни с того ни с сего павликова кровать чуть слышно тронулась с места, сделав это поразительно легко и мягко, как поезд при отправлении, и начала двигаться непонятно куда, и было видно, как крутилось маленькое колёсико. Само поехало!

Павлик резко выпрыгнул из всячего положения и упал на подушку, пытаясь разобраться, в какую сторону происходит движение: к печи-голландке или шифоньеру, и ощутил не страх, а, наоборот, непонятно отчего возникшую сильную радость. Он чувствовал мягкие толчки снизу, от которых вся постель, с подушкой и матрацем, уже не каталась, а лишь тряслась туда-сюда вслед им практически на одном месте, повинувшись непонятной силе, как покорное бессловесное животное.

– Павел, перестань баловаться, – сказала мама из своей комнаты.

– Я не балуюсь.

– А кто катает мою кровать?

– Не я. Я лежу на своей.

– Да? А кто?

– Никто. Это было землетрясение.

– Опять?.. Что-то нас слишком часто стало трясти. Смотри-ка, правда, вроде и гор близко нет, а трясёт который раз за лето.

Павлик чувствовал восхитительный прилив воодушевления, связанный с завтрашним днём, как будто перед Новым годом или днём рождения. Ему хотелось говорить и говорить всю ночь напролёт.

Но – режим. Раз лёг, то спи. От предвкушения будущего счастливого дня он так крутился в постели, что свело икры. Он не спрашивал себя, что будет, да если бы и спросил, то едва ли мог пока ответить, осознание предчувствия пришло только назавтра.

Воскресный день настал внезапно. Он вскочил, уже пребывая в радостном настроении, будто к чаю его дожидается сладкая шоколадка.

Куда девалась рубашка?

– Мама, где моя рубашка? – кричит Павлик возмущённо. – С вечера повесил её на стул!!!

Ага, и мамы нет.

Он вскарабкался из подвальчика по лестнице во двор, двор у них небольшой, метра два всего шириной; вдоль дома идёт забор, место меж домом и забором – это и есть двор, здесь же поленница, два куста чахлой смородины, которые без солнца никак не хотят плодоносить, клумба, отгороженная доской, с цветами саранками, а вот и мама – стирает в ванне бельё и развешивает его на верёвке, протянутой от ворот до сарая.

– Мама, где моя рубашка?

Мать разгибается, показывает мыльной рукой на длинную-предлинную верёвку, боже, там все его рубашки, совершенно мокрые висят, и с них капает на землю вода.

– Как же я пойду гулять? – взволнованно вопрошает Павлик.

– А кто тебе виноват, что за шесть дней выпачкал ровно шесть рубашек? Ты прекрасно знаешь, у меня только один выходной в неделю. И только в воскресенье я могу устроить стирку. Иди погуляй в огород, скоро высохнут.

Нет, так жить нельзя! Он не может более терпеть своё одиночество и бежит смотреть рубашки. Может быть, какая-нибудь высохла? Увы.

– Что сегодня будет... Что сегодня будет... – хитро разговаривая вслух, Павлик прохаживается мимо матери, полощущей пододеяльник в большой ванне, стоящей прямо на земле, и поглядывает на неё с заговорщицким видом. Однако она слишком занята своей стиркой для того, чтобы поддерживать разговор с подтекстом. Что же это такое?

– Мама, неужели мне совсем нечего одеть, чтобы выйти на улицу?

– Надень вельветовую курточку.

– В ней будет жарко.

Мать молча скручивает пододеяльник в огромный жгут, из которого, шипя, выжимается вода.

– В ней жарко и неудобно, – повторяет Павлик настойчиво на одной ноте. – За это я возьму орден.

Мать молчит. Молчание – знак согласия.

Павлик опрометью мчится в квартиру, достаёт курточку, прикручивает к ней орден из шкатулки.

Конечно, отцов орден оттягивает нагрудный карман и слегка болтается, железо винта неприятно царапает кожу, но он выходит в курточке на улицу.

Хочется орать, скакать, прыгать от неминуемого приближающегося счастья. А люди спят в домах, все как один спят, и такая светлая, в зелёных тополях, будто умытая, чудесная в своей утренней первозданности, улица пустынна. Он скачет по ней приставным шагом из конца в конец квартала. Никого. Настоящее изуверство – это когда человеку не с кем поделиться наступающим счастьем, общим для всех. Спать в такой день! В воскресенье!

Проходит битый час, пока из дома, где живёт его дружок Игорёк, не появляется Николай Пальч – седой, благообразный человек, всегда весёлый и приветливый, с двумя пустыми ведрами. Осторожно оглядывается по сторонам, не хочет встретить кого-нибудь со своей опасной ношей, иначе человеку не будет удачи весь день, и быстро направляется

к водопроводной колонке. Гигантскими приставными шагами Павлуша помчался ему наперерез с горочки, что нам приметы!

– Здравствуйте, молодые люди, – говорит приветливый Николай Палыч, успева-таки подставить ведро под струю колонки. – С утра пораньше носимся как на крыльях?

– Здравствуйте, а сегодня буря будет, – заявляет без обиняков орденоносец Павлик.

– Это кто ж тебе сказал? По радио слышал?

Молодой человек старается вспомнить, кто ему сказал, и с изумлением понимает, что никто не говорил, и ни от кого он ничего такого не слышал. Более того, не знает, откуда знает про бурю. Но ведь это ясней ясного!

– По радио слышал, – соглашается Павлик деревянным голосом.

– Странно, а мой барометр чего-то помалкивает, – и Николай Павлович выразительно оглядывается на поясицу.

– Может быть, ваш барометр сломался?

– Это я сломался, поэтому у меня и есть барометр.

– Сегодня очень здорово у нас здесь будет, – он не упоминает бурю, всё равно Николай Павлович не поймёт, ибо не чувствует того, что Павлуша.

Непонятый и слегка разочарованный, Павлик бежит домой, снимает курточку и орден. Мать раскатывает тесто в летней кухне, готовя воскресный пирог с рыбой.

– Далеко не уходи. Скоро будем завтракать, да я пойду мыть полы в конторе.

Павлуша стаскивает одну свою рубашку с верёвки, потому что во дворе всё ещё тень от тополей, бежит в огород, где развешивает её на тёплом от солнца заборе. Взрослые не понимают счастья. Они не так устроены. Людка бы его сразу поняла. Кстати, как это он забыл, ведь сегодня воскресенье, а в воскресенье они собирались идти в библиотеку менять книжки. Людка уже закончила первый класс, и между делом научила читать Павлушу, которому осенью тоже предстоит пойти в школу.

Он отыскал две библиотечные книжки, перелистал, всё в порядке, боже мой, как чудесно будет сегодня! Пока мать печёт пирог, он прочёл ей обе книжки. Позавтракал и кинулся в огород проверять рубашку.

Та оказалась почти сухая и лишь самую малость запачкана смолой, выступившей на заборе. Павлуша натянул её, схватил книжки и устремился к Людкиному дому, но на лавочку не сел, сначала постоял, потом начал ходить, а затем прыгать на одном месте. Неуёмная энергия счастья была ключом.

Из ворот красивого дома на горочке вышел Леонид Яковлевич – директор завода, а может, даже главный инженер, он работает круглую неделю без перерыва, но в обычные дни за ним приезжает большая чёрная «Волга», а в воскресенье директор идёт на свой завод пешком, потому что у шофёра выходной.

На воротном столбе, чуть повыше его серой шляпы, сидит серая кошка и смотрит на директора сверху удивлёнными глазами, – думает, что другая кошка на голове Леонида Яковлевича уселась. Выгнула спину и когтистой лапкой попыталась наподдать сопернице, однако тут же разобралась, что к чему, и снова мирно свернулась на столбике.

Смешно, что директор ничего не заметил, только шляпу поправил. Взрослые много чего не видят. Однако на сей раз Леонид Яковлевич подозрительно долго стоит на одном месте и смотрит туда, откуда придёт буря.

Павел насторожился: неужели так скоро? Быстро влез забор, встал, выпрямился во весь рост, но в той стороне неба ничего пока не видно. Дядя Лёня смотрит просто так? Или тоже чувствует радость? Хотя по его лицу этого не скажешь.

– Здравствуйте. А сегодня буря будет! – не удержался Павлик, когда директор проходил мимо. И добавил: – По радио говорили.

– Когда? Прогноз только что передали, ветер юго-западный, два-три метра в секунду, осадков не ожидается.

– Будет! – убеждённо радостен Павлик. – Оттуда придёт, как прошлый раз.

– У нас в это время года роза ветров юго-западная. Откуда взятся ветру, если в центре Кулунды, как раз на юго-западе, стоит огромный антициклон, и в Казахстане тоже? И все мы застряли в этом антициклоне. Дождя ждать не стоит, повсеместно область высокого давления.

– Будет буря, – пророчествует Павлуша, указывая пальцем в небо, – повалит тополя, и электричество опять порвётся до завтрашнего утра.

– Вот бестолковый какой, – возмущился Леонид Яковлевич, – говоришь ему про Фому, а он про Ерёму. Ты хоть знаешь, что такое роза ветров? Эх ты! – И, раздосадованный, что его отвлекли от собственных мыслей ерундой, идёт дальше.

– Нет, не знаю, – отвечает Павлуша весело ему в спину, продолжая гулять перед окнами не сгибая ног, изображая журавля, высматривающего лягушек.

Но вот из больших ворот появляется Людка, проверяет, все ли книжки он взял, после чего даёт команду отправляться в путь.

– Сегодня здорово будет! – говорит Павлик загадочно.

– Напрыгаемся до отвала, – соглашается Людка с особыми интонациями в голосе, по которым нетрудно догадаться, что она чувствует. Родственная душа.

Они отправляются в дальний поход.

Песок под ногами топкий, горячий, набивается в сандалии, очень грязный, потому что смешан со шлаком и золой от печей, которую жители выносят зимой на улицу. За ними тянется шлейф серой пыли. Очень хорошо, что машины в воскресенье проезжают редко, зато уж если пройдёт, то с полчаса стоит дымовая завеса, ничего вообще не видно.

На пути встречается водоколонка, они делают короткий привал, пьют воду, идут дальше, плюясь песком, скрипящим на зубах. Несмотря на все эти мелочи настроение растёт час от часу.

И вот, уже когда выбрали новые книжки и пошли обратно, то с песчаной горы Павлик разглядел на горизонте долгожданную узкую тёмную полосу, контрастно отделяющую синеву неба от зелени земли.

– Вон! – победно указал пальцем, словно полководец после долгого перехода на открывшийся в пустыне долгожданный оазис.

– Буря идёт! Ура! – Людка подпрыгнула над песком небольшой ракетой. – Быстрой, живо, сейчас поиграем дома!

Они заторопились, чтобы успеть до бури. Ширина полосы над горизонтом тоже быстро увеличивается. В воздухе повисла жаркая тягостная тишина. Солнце светит с отчаянной силой. Когда добежали до своего квартала, плотная тёмная стена встала уже на полнеба. Она чёрно-синего цвета. За ней ничего не видно.

Стена приближается беззвучно, решительно. Все люди по случаю выходного дня и природного события вывалили на улицу, чтобы осмотреть получше редкую достопримечательность.

– Дождя не будет, – говорит Николай Павлович столпившимся кружком соседкам. – Это не грозовая туча. Это ветер с целины опять тащит к нам чернозём. Там почва эрозирует, распахали степь, вот теперь чернозём и выдувает весь.

Анна Михайловна внимательно разглядывает стену, вставшую до неба, словно ищет в ней брешь:

– Прошлый-то раз выхожу после в огород, а у меня там зерно пшеничное насыпано.

– А у меня песком сантиметра в три слоем всё покрыло.

– Это бог наказывает, – говорит баба Лена, – светопрествалением, сроду раньше такого не бывало: ветру нет, а оно идёт. Может быть, это и есть конец света, кто знает, молиться надо всем.

– Бог-то бог, да сам не будь плох, – замечает проходивший по своим делам участковый Трохимчук.

На его галифе всегда болтается пистолетная кобура, – всем известно, набитая тряпками для вида.

Муж Анны Михайловны Паша вынес огромную чашку нарезанных разноцветных помидоров, жёлтых, красных, даже фиолетовых:

– Пробуйте, соседи, угощайтесь скороспелыми сортами и ничего не бойтесь, таких концов уже третий за одно лето, как-нибудь и его переживём.

Стена изогнулась, нависла над улицей, как океанская волна над кораблём местной жизни. Она стоит молчаливая от земли до самого солнца, как бы на одном месте. Однако видно, как на горе проглатывает один за другим дома.

– Смотри, смотри, – кричит Павлик Людке, – больницу двухэтажную сейчас сожрёт!

И точно: стояло двухэтажное здание больницы, белое, красивое, – раз и нету, пропало. Вот здорово!

Вдруг из двора бабы Лены заголосил петух.

– Было же, граждане, постановление: не держать живности горожанам! Елена, твой петух орёт? – Трохимчук укоризненно поглядел на старуху. – И чего мне с вами, несознательными, делать?

– Петуха я давно сварила по постановлению... три курочки остались. Да как же без яиц? А? – восклицает она, вознося истощённую постами длань к небу. – Ох, значит, курица петухом закричала, ох, не к добру!

– А говорила, нет живности, – продолжает рассуждать участковый, – вот и верь вам после этого на слово, богомолкам. Пройдём-ка, Елена Ивановна, ко двору, да выберем меж собой: или протокол составлю, или того... на твой сознательный выбор. Топорик в сенках, за дверью?

– За дверью. Иди, всё равно теперь, а я с народом останусь!

Трохимчук смотрит на чёрную стену, поправляет кобуру, и направляется к калитке Ивановны – выполнять постановление партии и правительства.

Тем временем Николай Павлович с тётёй Грушей прогуливаются, взявшись под руки. Отставной полковник Брусницкий вынес на улицу трофейный цейсовский бинокль и даёт всем желающим поглядеть на стену: немецкая оптика показывает вихри и протуберанцы пыли, из которых состоит великая кулундинская стена. Вокруг него собирается разноцветная, празднично одетая толпа желающих.

Большая редкость, когда все обитатели квартала разом высыпали из своих домов в приподнятом настроении, смеются, шутят друг с другом, забыв многочисленные соседские распри. Будто праздник снизошёл на их улицу.

Все поглядывают на приближающуюся стену, что нависла уж над ближними домами. Хорошо хоть солнце остаётся пока на здешней стороне, ярко освещая окрестности: это напоминает спектакль про конец света, в котором зрителей неожиданно пригласили поучаствовать, и они, смеясь ради согласившись, взобрались из зала на сцену и, надувая щёки, чтобы не расхохотаться, ходят под яркими лампами перед нарисованным на задней сцене огромным, ужасным адом, который весь извивается и корчится, но которого никто ни капли не боится, потому что знают: за сценой стоят вентиляторы и дуют на полотнище, чтобы ад казался живым.

Ребятишки бегают, орут, кто во что горазд, и Павлик с Людкой, зная, что скоро всё кончится, вливаются в общую восторженную толпу, переживая высшую эйфорию и необъяснимое вдохновение, требующее немедленной отдачи всех сил.

Стена стоит уже совсем рядом, прямо за заборами, а ветра нет ни малейшего, яркое освещение улицы приобретает насыщенную жёлтую окраску, подтверждающую, что все они находятся на одной большой театральной сцене вместе с домами и деревьями, сверху светят солнечные прожектора, а в двух шагах занавес от неба и до земли, что происходит

за ним – неизвестно. Может быть, там сокрыт театральный буфет, а может, вовсе ничего нет. И ещё совсем немного осталось ждать, как нигде никого и никогда не будет. Все чувствуют это. Если бы солнце стояло чуть пониже, тени от людей и деревьев были бы видны на этой стене.

Но никакой печали. Павлик любит всех со счастливой уверенностью, что они тоже любят его. Ребятишки затевают новые игры и тут же бросают их, бешеная энергия не выносит ни сдерживающих правил, ни законов, ни вообще каких бы то ни было ограничений.

В конце концов они просто носятся друг за другом по сваленным в кучу толстым брёвнам и дико кричат. Игорёк падает, медленно поднимается: на его лбу надувается тёмно-красная линза, он неуверенно улыбается, покачивается, как во сне. Павлик вместе со всеми закатывается от хохота, все хохочут так, что за животики хватаются, хохочут, хохочут, не в силах остановиться, а он стоит на бревне, расставив руки в стороны, как-то устало качаясь. Тётя Маша подхватывает его и уносит домой, несмотря на слабое сопротивление.

Вдруг солнца не стало, но ещё кое-что видно сквозь пыльную мглу вокруг, и они с Людкой схватились за руки и помчались куда-то так быстро, как только могли, подпрыгивая и необыкновенно высоко взлетая.

У них появились неограниченные силы и способности. Они стали бессмертными и всемогущими.

Вместе запели ужасно громкую песню-крик, пока кругом совсем не почернело, дома с деревьями окончательно исчезли, сделалось темно как ночью, последние живые звуки и крики поглотила воющая со всех сторон колкая чёрная пыль, и тогда, крепко схватившись за руки, они закружились на одном месте, но потерявший зрение и слух Павлик уже не мог различить ничего даже совсем близко перед собой, даже Людкиных рук не видно, своего голоса не слышно, потому что кругом стоит непрерывный гул. Но радость от этого ещё более возросла, сделавшись невероятной.

Они кружились и кружились, и кружились, как две пылинки в общем бешеном круговороте, и ничего кроме этого движения не осталось в жизни, но именно оно доставляло самое гигантское наслаждение. Центробежная сила старалась разорвать их вечную связь: понемногу Людкины руки начали отлепляться от его рук, ещё немного – и они в последний сладкий миг ощутили друг друга кончиками пальцев.

И всё кончилось. Расставание неумолимо, так всегда бывает в жизни: раньше или позже, но к вечеру непременно надо расставаться. Это очень печальный миг, который содержит в себе особую щемящую радость будущей встречи, и всё, всё, конец. Больше никого у Павлика не осталось.

Его куда-то тащит, он неуверенно переставляет ноги, спотыкается и падает навзничь, непривычно сильно ударяясь спиной о землю. Вся планета слишком быстро кружится под ним волчком, вставая то на один бок, то на другой, теперь она совсем небольшая осталась, размером с бочку. Павлик лежит на ней один, его лихотит, и он начинает бояться, что слетит с неё, и тогда уж точно провалится с ручками-ножками в бездонный чёрный косматый космос, куда срывается и падает иногда по ночам во сне.

Тридцать первого декабря под Новый год в госпитале из-за сорокаградусных морозов произошло резкое понижение температуры в отопительной системе, и всех больных, кого было можно, срочно выписали домой, неходячих распихали по другим стационарам.

Павел не ожидал такого удара судьбы.

Он был стопроцентно уверен, что пролежит в больнице всю зиму от начала до конца, ведь лечащий врач сразу предупредила, чтобы раньше марта не надеялся на выписку, и потому не завез с осени топливо, надеясь хоть маленько сэкономить.

Подвал сейчас так накалился холодом, что ой-ёй-ёй, поди нагрей-ка его! Нет, не отрыть ему траншеи в снегу, сарай занесло под крышу, не расколоть чурку – сил нет, только на морозе задохнёшься, не натаскать угля для протопки, в общем, в подвале не выжить в такой мороз больничному человеку.

И поехал Паша на трамвае, весь скукоженный, сразу сильно подмёрзнув и задохнувшись от холода, совсем не домой, а на базар.

К тому же поддался слабости в ногах – войдя в трамвай, уселся, не подумав, на свободное металлическое кресло, и, хоть сразу почувствовал, что леденеет, встать сил уже не хватило. Нахохлился, съёжился и решил досидеть до нужной остановки.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: к нему двое подошли, невысокий мужчина в хороших унтах и женщина в толстой шубе, которой можно только позавидовать, и крепко поддатый мужчина сразу скомандовал:

– Слышь, ты, мужик, чего расселся? А ну встань, уступи женщине место!

Тотчас Павлуша нашёл в себе силы встать, уступить место, смущённо улыбнулся вдобавок: извините, не заметил, ещё немного отошёл в сторонку, и начал смотреть в замёрзшее окно. Он не испугался, нет у него больше страха внутри, вырезали, наверное, с какой-то кишкой, или сожгли химиотерапией дотла, а он и не заметил. Страх нет, но радость иногда случается, без радости жить невозможно, а он, Паша, очень живучий. Стоит себе да рассуждает о жизни.

Минус сорок три на улице. Дров наколотых в сарайке нет, угля мало, вместо тропинки к сараю – сугробы, пока их разгребёшь, пока растопишь всю зиму не топлённую печь – околеть успеешь. Правильно не поехал домой. Нечего там делать.

Маленький джентльмен, усадивший даму, тем временем продолжал сопеть размороженным красным носом и неотрывно пялился в Пашину сторону, явно не удовлетворённый своей слишком быстрой победой. Ему хотелось долгой, трудной, кровавой битвы, но Павел его сильно разочаровал тем, что и теперь не давал повода: даже головы не поворачивал, взглядом тем более не встречался, и это вызывало в душе коротышки крайнее раздражение. Свирепея от бесконфликтности, джентльмен начал ругаться матом, подбирая побеждённому сопернику нужные характеристики на тюремно-блатном жаргоне.

Ему очень хотелось сейчас заехать кому-нибудь по кумполу, душа просила бури и шторма, аж заходилась, бедная. Пашин немалый рост вызывал агрессивный протест и привлекал пафосом справедливой борьбы Давида с Голиафом, а с другой, ещё более приятной и обнадеживающей стороны, Голиаф носил на носу толстые очки с замороженными линзами, тут главное – первым ударом окуляры расхлестать, а дальше найдём куда пинаться.

Унты скоблили в Пашину сторону, в то время как хорошо усевшаяся дама цепко держала своего друга за рукав и не пускала в драку. Но в любом случае зависеть от исхода их противостояния совершенно не хотелось. Потому, сочтя за лучшее избежать осложнений, Павел вышел на очередной остановке и пошёл себе пешочком. До базара, где торговала овощами и фруктами Людмила, оставалось всего каких-нибудь пара километров.

Из-за мороза в предновогодний день открытых палаток на базаре мало, в торговых рядах зияли многочисленные пустоты, но стеклянные киоски упорно работали, светясь гирляндами разноцветных лампочек. Павлуша стукнул в замороженную форточку.

Форточка тотчас открылась и приветливо спросила девичьим тоненьким голоском:

– Что будем брать, мужчина?

– А Людмила сегодня не работает?

– Рядом, – и форточка закрылась. Холодно. Фрукты могут подмёрзнуть.

Шёл двенадцатый час дня. Стояла морозная мгла, высыпавшая серые кристаллики льда на грязный лёд дороги. Стёкла очков окончательно заморозились дыханием, пришлось корябать дырочку. Трудно даже представить себе, как продавщицы могут отстоять весь день на таком свежем воздухе, тем более, что покупателей практически нет, и едва ли появятся. Все всё давно закупили и дома сидят, праздничный ужин готовят.

Через дырочку он недоверчиво приглядывался к толстой тётке в многослойных шалях-платках, телогрейке и штанах, заправленных в валенки. Дырочка в стекле быстро замерзала, к тому же располагалась не по центру, а немного внизу, отчего приходилось заирать голову и с важным видом разглядывать продавщицу с багрово-распухшими щеками, торговавшую рядом с киоском в открытой палатке. Баба стояла за коробками, в которых богато насыпаны курага, чернослив, греций орех и арахис. Когда она подняла опухшее лицо с сизым носом, Павлуша тотчас узнал знакомое чудное выражение, всегда таившееся возле глаз, теперь запавших глубоко под заиндевельными бровями.

– Привет работникам советской торговли, самым честным работникам во всём мире! – как можно бодрее прокаркал он.

– А, это ты? Выписался наконец? Ну, здравствуй, здравствуй, товарищ дорогой, давно не виделись. Что-то не сильно растолстел на больничной каше. Возьми вот грецкого ореха, пожуй, здесь очищенный есть. После химиотерапии нужно усиленное питание.

– Почём стаканчик?

– Ах, – она махнула рукой, – угощайся, ешь на здоровье да поправляйся, кураги вот возьми, от сердца хорошо помогает, всё равно никто ничего в такой мороз не берёт. Веришь-нет, полтора часа здесь торчу, ты первый подошёл.

– Если первый мужчина – к удачному дню, – напомнил ей Павлуша широко распространённую среди продавщиц примету.

– Какое там... в мороз нет рынка. Что-то видок у тебя не ахти.

– Маленько не долечился. А ты почему на улице, а не при овощах в своём стеклянном дворце?

– Так молодым везде у нас дорога, – попыталась улыбнуться Людмила. – Шамиль в киоск новенькую девчонку взял, я теперь больше на подхвате, случайным товаром торгую. Таджики на прошлой неделе морозов испугались и уехали, Шамиль у них перекупил орех вот, да сухофрукт по дешёвке. Мне ведь уже не тридцать лет, милый мой, скоро стукнет сорок пять, буду ягодкой опять. Может, снова в киоск поставит, а?

По её слезящимся бойким глазам нетрудно догадаться, что она уже остограммилась, но на таком собачьем холоде без этого не выдержать. Все рыночные "зимовщицы" с багровым сибирским загаром на лицах за день набирают понемногу, дабы не околеть, отчего к вечеру бывают сильно навеселе и, случается, в таком виде по-серьёзному обмораживаются, или ещё хуже, обсчитываются.

– Постереги маленько, сбегая погреюсь.

Павлуша кивнул и залез в палатку. Он не мог помочь ей чем-то существенным по жизни, но всегда пребывал рядом, крутился возле да поблизости, от этого и судьбы их до сих пор лавируют параллельными курсами уже много-много лет, у обоих даже один общий хозяин – Шамиль.

Когда Людмила ещё была замужем, они с Павлом виделись не слишком часто; иногда, соскучившись, он забегал под каким-нибудь предлогом к ней на работу, может, раз в месяц – и то хорошо. Павлуша заболел ещё в школе, всё по больницам скитался, даже жениться не смог: "Пустой я человек", – смеялся он, когда его спрашивали об этом, – никчёмный совершенно для женитьбы". А Люська успела выскочить замуж, жила в достатке, нормально, правда, без детей, а потом и её догнал рак, отняли одну грудь. Странно всё же: поджелудочную железу хирурги удаляют, кусок пищевода вырезают, а грудь отнимают – выбрали словечко поделикатней. Вскоре после той беды, а возможно, и вследствие оной, Люси тихо, незаметно, без всякого шума развелась. Муж оставил ей квартиру, а сам перешёл жить к её подруге. Спустя какое-то время и у Людмилы в

трёхкомнатной квартире объявился новый жилец, шикарный красавец Шамиль – беженец из Чечни.

Когда она рассказывала, какие букеты он дарит ей каждый день, как красиво умеет ухаживать и носить на руках, на неё трудно было глядеть – так сияли глаза. Она была на седьмом небе от счастья, пожалуй, Павлуша никогда не видел её более окрылённой, чем в эти начальные месяцы совместной жизни с Шамилём, даже во время бури, а потом у неё родился долгожданный ребёнок, Шамиль назвал мальчика Джихаром, а Людмила звала Димой.

В годовалом возрасте Шамиль увёз Джихара-Диму в горную Чечню показать своим родственникам, и оставил там пожить. С тех пор прошло пять лет, больше Людмила сына так и не видела, хотя регулярно отдавала на пересылку в Чечню почти весь заработок. Прежде у неё была хорошая должность ведущего экономиста в управлении, но управление давно расформировали, и уже который год она торгует у Шамиля на рынке. Для своих нужд Шамилю нужно было создать "инвалидскую" фирму, в которой Павлуша стал числиться директором. Это позволяет ему чаще видеться с Людмилой, ведь они друзья детства. Числился он за бесплатно. Какая там работа – только в бумажках расписаться, а жил по-прежнему на инвалидскую пенсию первой группы.

– Эй, чего нахохлился, как воробей, хочешь, налью немного? – Людмила вернулась в боевом настроении.

– Нет, спасибо, нельзя мне.

– А на морозе топтаться можно? Сейчас Шамиль в кафе сидит в своей папаше, шашлыки жрёт и кофе запивает. Настоящий беженец. Он сказал, что из суда опять повестка пришла по этим дурацким авизо, тебе надо после праздников в суде быть, зря ты выписался так рано. Так что отгуляешь Новый год – сразу дуй в поликлинику к своему врачу и садись на больничный, понял?

– Я знаю про повестку, Шамиль в больницу звонил.

– Тогда иди домой, чего зря мёрзнуть? Помог – спасибо, ещё не хватало простуду схватить.

– Слышь, – Павлуша ёжится, переходя к самому деликатному вопросу, – можно, я к тебе? У меня в подвале сейчас мороз, топить надо сутки, чтобы стены нагрелись.

Людмила достала ключи:

– Держи.

Павлуша сознаёт, что это поистине царский подарок, за который подруге детства придётся вечером выслушать немало неприятного от Шамиля. Но его совесть молчит, наверно, тоже отрезали ненароком. Или привыкла не высовываться, а по морозу так и особенно.

– Спасибо.

– Из спасибо шубы не сошьёшь. Будешь кашеварить. Свари суп, мясо в морозилке, и сам ешь, что хочешь. Приду – меня накормишь горячим до отвала, а то умру. Только сиди на кухне, в комнаты не ходи, что там делается – тебя не касается, понял?

Да разумеет он всё, понимает, что везёт ему на этом свете. Кто там обитает в комнатах – не его собачье дело, какие люди приходят, о чём разговаривают, почему ругаются, – сразу сокрылся на кухне варить ужин по люськиному заказу.

С рынка она вернулась затемно, в шесть часов вечера. Павлуша начерпал тарелку щей из кислой капусты, на второе картофельное пюре с сосисками. Людмила ела молча и морщилась: руки-ноги отходят от мороза не сразу, только спустя время начинает выясняться, где что приморозилось. Наливает себе ещё водки и торопливо глотает, опасаясь всегда трезвого своего супруга Шамиля.

Потом долго пьёт горячий чай, обхватив бокал ладонями, и глядит замёрзшими глазами в одну точку, расположенную на столе возле сахарницы. Павел сидит рядом, тоже молчит, ждёт, ему не страшно, а слегка как бы неудобно, вдруг Шамиль разорётся и выгонит, куда тогда податься, на ночь глядя? Хотя, скорее всего, и выгонит. Негде у них

тут приткнуться, своих гостей навалом. Ну и ладно, пойдём домой, в наш родной подвальчик.

Наконец за окном раздаётся мяуканье сигнализации; хлопнули входные двери в подъезде: приехал на своём мерседесе Шамиль с охранником, неулыбчивым молодым чеченцем, недавно сбравшим бороду и оттого кутавшим белый подбородок на загорелом лице в пуховый шарф.

Людмила опрометью бросается им навстречу:

– Шамильчик приехал!

– Ты, директор, опять здесь? – проходит тот мимо неё, не замечая, и обращается к Павлу. – Что за дела? Муж на работе, а ты у его жены дома сидишь? Да?

– Его из больницы только что выписали, а дома нет отопления, – быстро говорит Людмила, широко открывая глаза и быстро-быстро хлопая уже покрашенными ресницами.

– А ты молчи, женщина. Горская женщина должна молчать, когда мужчины разговаривают. Но ты плохая женщина, ты просто русская баба, вот ты кто. Грязная русская баба.

Павлуша знает, что на базаре меж кавказцами, которые там всем заправляют, это самое большое ругательство, обозвать чем-то худшим, чем грязной русской бабой, невозможно, и потому молодые продавщицы, которых берут на торговлю, первым делом ищут в своей родословной хоть мордву, хоть татар, но лишь бы не называться русской.

Однако Людмила молчит, чувствуя вину, и не спорит.

– Ну, я пошёл, – говорит Павлуша, – спасибо за ужин. – Встаёт и выходит из кухни в коридор.

– Учти, я тебя не выгонял, я спрашивал: почему ты здесь? – отдаёт дань кавказскому гостеприимству Шамиль.

– Никуда он не пойдёт, потому что дома у себя замерзнёт, – вдруг начинает возражать Людмила.

– Если главный обвиняемый помрёт, дело закроют, – шутит Шамиль. – Ладно, сиди пока, грейся, директор. Женщина, накрывай стол, накрывай в комнате большой стол, праздновать будем. Большое дело сегодня будет сделано. Пусть и директор посидит с нами. Хочешь, директор, ещё одну должность? Я тут подумал, и решил ввести должность главного евнуха, а? Ты на неё очень хорошо подходишь.

Он смеётся, показывая изумительные белые зубы. Охранник молча сверлит Павлушу глазами, в которых много презрения.

– Ладно, шучу, шучу. Не понимаете вы, русские, шуток совсем. Нотариуса сейчас привезу, слышишь, женщина? Ты обещала мне генеральную доверенность на квартиру подписать? Вот сегодня и подпишешь.

– Ещё чего.

– Больше пока ничего. Поняла? Или мальчика на шахида учить отдам, хочешь, да? Пожалста, прямо сейчас команду дам: сколько можно за стариками в ауле отсиживаться, пора ему джигитом становиться. По сотовому телефону позвоню – и все дела. Слушай...

Он вытаскивает из куртки сотовый и набирает номер:

– Руслан? Дорогой, обнимаю тебя...

– Ладно, – сдаётся Людмила, – не звони, подпишу я, подпишу.

– Вот и хорошо. – Шамиль подмигивает Павлуше и продолжает разговор с неведомым Русланом уже на своём языке.

Павлуша молча садится на банкетку в прихожей обуваться, но вдруг тело становится чужим, неподъёмным, слишком большим для него, руки и те перестают подчиняться. Он замирает с мыслью: “Неудачно сел”.

Открыв глаза, видит Людмилу. Она стоит перед ним одетая в пимы, шубу и шапку.

– Я думала, ты уснул, так тяжело дышал.

– Устал с непривычки, сейчас оденусь и пойду. Шамиль что, уехал уже?

– Да, за нотариусом. Пойдём и мы поскорее отсюда.

– Куда? – Павлуша ещё плохо соображает.

Она помогает ему подняться и натянуть старый добрый китайский пуховик.

– К тебе.

От такого предложения глупо отказываться.

– Пойдём.

– Может, выпьешь для сугреву немножко? А то сейчас температуру передали по радио: ночью обещают сорок восемь.

– Нет... а хотя давай, плесни. Думаю, хуже не будет.

– Я взяла с собой еды и выпить. Мне надо уйти от Шамяля, спрятаться, – её пухлые губы дрожат. – Если подпишу эту доверенность, то всё, поминай как звали: он завтра же квартиру продаст, давно мечтает домик отдельный возле базара купить, чтоб никто не знал, чем они там занимаются. Старухи ему, видишь, не нравятся местные у подъезда, слишком любопытные. А если квартиру продаст, то я-то ему совсем не нужна буду. Скажет соседям, что к сыну уехала жить, кто меня в Чечне искать будет?

– Да, – сказал Павлик, ясно представив все последствия, – конечно, идём. – Затопим обе печи, обогреется подвал, никуда не денется, всё будет нормально. Ты давно не бывала в наших местах?

– Забыла, когда и была.

– Вот и вспомнишь. Намело, наверное, как всегда, выше крыши. Низина.

До площади Пушкина доехали на троллейбусе, дальше трамваем. Павлик сто лет не потреблял горячительного, и теперь испытывал во всём теле забытую лёгкость и презрение к морозу. Мгла, смешанная с выхлопными газами, плотно заполнила город, на улицах к десяти вечера нет ни души, только редкие машины проезжают, оставляя после себя огромные белые облака.

Они бежали от трамвайной остановки по тёмным закоулкам через гаражи, громкий треск скрипучего снега, не задерживаясь под ногами, улетал прямо в космос. От водки он всё ещё не чувствовал холода, зато била крепкая дрожь, приходилось часто снимать рукавицы и растирать нос, щёки и мочки ушей. Мороз по-садицки острой бритвочкой пронзал кожу.

– Мерзляка, – рассердилась Людка, – вот постоял бы на морозе восемь часов, что бы с тобой тогда было?

– Бросай ты свой базар, уйди оттуда, зачем калечишься?

– Э, нет, невозможно. Я же рабыня, Шамиль держит Димку в заложниках, понимаешь ситуацию: своим собственным сыном пугает его мать, это как называется?

– А как он там живёт, не знаешь?

– Не знаю, и не узнаю никогда. Лучше было бы считать, что умер, но не могу. А сегодня рабыня сбежала. Пусть поищут на морозе. Смотри, какие сугробы красивые, помнишь, в детстве бродили по таким же в Новый год, снег так искрился, пойдём, а?

И она полезла в высокий сугроб, увязла в нём по пояс, засмеялась и легла на снег, разбросав руки в стороны. Сильно выпила. Павлуша вздохнул коротко и полез за ней, но лечь не стал.

– Обморозишься.

– Ерунда. Ложись рядом. Помнишь: как вывалиемся в снегу, одежда вся застынет коробом, а дома мать приставит к горячей печке – и она растает, тогда только можно растёгиваться.

– У меня дома сейчас пока нет горячей печки.

– Печки нет, детей, почитай, тоже нет, матерей нет. Дай-ка руку.

Павлуша дал, но её пальцев не почувствовал.

– А помнишь, танцевали здесь во время бури? – спросил мечтательно.

– Это перед Новым годом?

– Нет, летом.

– Летом не помню... слушай, а давай танцевать?

Они на четвереньках выползли из сугроба и, все облепленные снегом, как два больших снеговика, взявшись за руки, неуклюже закружились на месте. Сразу запнулись и повалились с ног.

Спешащий домой прохожий, ёжась, обежал пьяниц стороной.

Они еле смогли протиснуться в калитку, которую со двора подпёр высокий сугроб с генеральским козырьком.

– Слушай, – сказала Людмила, пробираясь по занесённой снегом лесенке в подвал, – а давай напьемся сейчас как следует, и ну их всех к чёрту!

Павлуша щёлкнул выключателем на кухне, свет ослепительно вспыхнул, треснул и потух. Он включил в комнате. Лампочка даже не моргнула.

– Пробки перегорели. Сейчас свечку найду.

– Ну и чёрт с ним, со светом, темнота – друг молодёжи, да ведь? Будем пить, есть и веселиться. – Она прошла в комнату, достала из сумки на стол бутылку водки, колбасу, и ещё полбулки хлеба. – Здесь и без свечки от луны светло.

– Нет, надо сначала печи затопить.

– Успеем.

Он знал, что если не затопит сейчас, то потом сил не хватит. Поэтому молча взял угольное ведро, лопату и пошёл во двор, не обращая внимания на возражения Люськи. Водка всё ещё придавала силы, и Павлуша довольно быстро прорыл траншеей к огородной калитке, однако тут в двух метрах от сарая дело встало: в затишье намело гигантский высоченный сугроб тяжёлого прессованного снега, который и за ночь не расчистить.

Действие водки благополучно закончилось, на таком морозе спиртное из организма быстро испаряется. Реальная ситуация представляла собой коктейль самого удачного вечера в жизни – Люсьен пришла в кои-то веки к нему в гости – с ужасным триллером: по всей видимости, он не сможет растопить печи, вследствие чего к утру, напившись водки, оба замёрзнут. Даже раньше. Вон пальцы совсем не чувствуют дужки ведра, то и дело оно валится из рук.

Павлуша кинулся по сугробам к забору, увяз по горло, но добрался, и начал обламывать верхи досок. Те оказались гнилые, мёрзлые, трухлявые – ломались без особенного сопротивления. Толку в печи, конечно, от них не будет никакого: с осени под проливными дождями гнильё напиталось водой, которая превратилась в лёд, и гореть такие дрова уж точно не будут.

Понимая это, он, тем не менее, продолжал ломать забор. Потом отбросил мёрзлые щепки и пополз, стелясь телом и коленями, чтобы меньше проваливаться, на штурм сугроба-горы в направлении сарая, таща за собой ведро.

Перед дверью намело выше всего, почти до крыши. Павлуша осторожно заполз на самый верх сугроба, схватившегося плотной коркой, и съехал с него вниз, как с горки, прямо к двери, здесь, на счастье, ветром выдуло снег до травы, дверь открылась свободно.

Он скоренько накидал полное ведро угля, но с дровами дело хуже: готовых поленьев не было, предстояло рубить чурбаки самому. Эх, глаза бояться – руки делают!

Если кто думает, что невозможно колоть вслепую дрова в абсолютной темноте сарая ночью, тот очень сильно ошибается. Когда надо – всё можно. Установить чурбак на ощупь в привычное место, согнуть ноги в коленях, иначе прорубишь ветхую крышу, прогнувшуюся под тяжестью метрового сугроба, и пошёл пластать на полусогнутых. Чуть влево – грохнутся от стены бочки и ванны, чуть вправо – выбьешь поддерживающую стойку, а тогда крыша точно рухнет, и хана! Это ж не рубка дров – это ж целое искусство жить. Всё человек может, абсолютно всё! Даже такой вроде бы никчёмный, как Павлуша. Э, посмотрела бы на него лечащая врач сейчас, а то хотела в чужую больницу перевести

куда-то, на постельный режим, нет уж, извините – дом не велик, а сидеть не велит! Лежать ему в больничном коридоре тем более невозможно, – как заниматься сексом на Красной площади, – прохожие советами замучают! Всеми этими народными рецептами, каждый своим... да упаси боже!

А кто теперь ползёт сквозь сугроб, толкая перед собой ведро угля? Он, Пашка.

А кто опять, задрвав охапку дров повыше, таранит тот же сугроб вброд по горло в снегу?

Да он же, наш человек, Павел Иванович. Работник. Всё может. Да, таких людей не уважать нельзя, которые сквозь сугробы прошли на большом морозе, им всё нипочём. Они всё могут. Настоящие люди.

В доме тихо. Значится, так, планы у нас грандиозные, но главное – сначала на кухне затопить основную печь, лучинок туда нащепать от полешка, потом небольшие палочки уложить, поджечь...

И когда появилась настоящая тяга, и костёрчик весело зашумел в топке, Павлуша, прибодрённый успехом, с размаха ухнул сверху через открытый кружок полведра угля, бросился на пол перед широко раскрытым поддувалом и принялся дуть в него из последних сил. В топке то потрескивать начинало и светиться красными огоньками, то всё мрачно гасло, и только густой холодный дым наполнял кухню, так что пришлось раскрыть дверь на улицу, чтобы проветрить и заодно создать дополнительную тягу. В доме похолодало, хотя куда уж холоднее.

«Замёрзнем, – поёжился Павел без всякого отчаяния, принимая это почти как свершившийся факт, – следовало бы сначала голландку в комнате затопить дровами, а он за уголь взялся с кухонной печью возиться, эх, пьяный проспится, а дурак никогда!»

Но уголь, если начнёт гореть, то много надёжней. Уголь бы всю ночь калился и квартиру согрел. А с дровами бабушка ещё надвое сказала.

Он заглянул в комнату. Там лимонная луна блестела на полу, отражаясь в нём, как во льду. Её холодное сияние мрачно высвечивало кровать с лежащим на ней огромным туловищем в пимах, недвижимым, как новопреставленный покойник, оставленный один в ночь боязливymi родственниками.

– Людмила, – позвал Павел неуверенно, – ты встала бы, походила, погрелась, а то замёрзнешь ведь.

Людмила не ответила. Огарок свечи на столе горел ровным длинным пламенем тоже нехорошо, неприятно, как возле гроба. Фу ты, чёрт!

Павлуша осторожно внёс охапку дров в комнату. Бутылка на столе открыта. Один бокал мерцает голубым, другой тускло пуст. Не утерпела.

Странная штука жизнь. Прошло столько лет, и вот вдруг она лежит здесь, у него на кровати, в шубе, шапке, валенках, в морозной тишине, освещённая голубоватым светом ночи и неверным пламенем свечи.

Он снял рукавицу с её руки, погладил бесчувственно, как вату, пальцы, пахнущие черносливом.

А что если сейчас не суетиться с дровами, бросить этот напрасный и бессмысленный труд, а просто лечь рядом, обнявшись? Разве не об этом он мечтал всю свою жизнь? Выпить водки, ему много не понадобится, глотка хватит, лечь и навсегда счастливым заснуть? Одним махом, без натуги свободиться от всех мучений, настоящих и грядущих, и не придётся тогда в скором будущем опять же умирать долгой некрасивой смертью под равнодушными взорами чужих людей. Это ведь бог вдруг смилостивился, даёт верный шанс избежать противной участи-обязаловки, так надо им пользоваться, как удалось в своё время выскользнуть в иной мир мастеру Чеснокову – легко, с улыбкой, не приходя в сознание, видя сказочные хмельные сны.

И что хорошо – не надо убивать себя, просто лечь рядом с Люськой да прикрыть глаза. Свеча потухнет сама. Они уснут сном праведников и пролежат, обнявшись, как живёхонькие, до самой весны, если, конечно, Шамиль прежде не разыщет. Ему-то всегда

срочно надо. Ладно, бог с ним, разыщет – и тоже порадуется человек: без проблем достанется ему Людкина квартира, и прокуратура закроет дело с фальшивыми авизо по случаю смерти главного обвиняемого – директора фирмы. А то мало ли чего инвалид-директор мог сболтнуть в кутузке? Всем станет хорошо.

Павел поднял бокал. Как легко, боже, как легко они уйдут сейчас от всех. Вместе. Взявшись за руки. Его пальцы тоже навсегда пропахнут вкусным черносливом.

Только соседи потом будут смеяться.

Скажут: вот жених какой, не смог невесту согреть! Смех и грех!

И родители тоже недовольно заворочались в памяти, выплыли из темноты лица, глядящие с укором. Ну да, конечно, вы претерпели до конца, что бог послал, все страдания испили и держались достойно до самого смертного стога, но ведь за вами было кому ухаживать, а кто за ним станет ходить? Пьяный сторож в тюремном лазарете?

Так-то оно так, а всё одно народ высмеет: напоить невесту напоил, а согреть не сумел, заморозил, сучий выродок. Зачем тогда приводил? Это точно. Народ в соседстве простой живёт, в последнем слове выразится без утайки, за язык никого не удержишь, тем более из гроба.

Павел отставил водку, вернулся на кухню смотреть как дела, а там всё заглохло, в топке ни огонька, угольный чад столбом стоит, мороз ещё сильней из-за раскрытых дверей. То было как в леднике, теперь пронзительней, чем на улице.

Как бы не угореть, этого ещё не хватало! Павлуша хотел залить дымящий уголь водой, но только стукнул ковшиком по льду: вода в бачке давно замёрзла. Водопровод тоже. Залить печь оказалось нечем. Он сбегал на улицу, принёс лопату рассыпчатого снега, забил им топку насмерть, чадить тут же перестало.

Немного проветрив помещение, закрыл входные двери, кухонную в комнату тоже прижал плотнее, снизу фуфайкой щель заткнул и принялся скорее растапливать комнатную голландку, последнюю свою надежду. Может, хоть комнату отогреет. Если не получится, тогда да. Тогда всё. Никуда не денешься.

Лучина нехотя запалилась от огарочка свечи, а поленья долго лежали, сырея тающим снегом, не желая возгораться. Потом одно полешко в середине сверху вроде обуглилось, и огонь принялся несмело лизать его белый бок. Тяги никакой, в трубе холодный воздух устоялся за столько-то месяцев холода. Это когда же по-настоящему разгорится? Хорошо, если к утру комната нагреется, не раньше. Весь декабрь с ноябрём стены остывали, по углам аж толстый слой льда намёрз. Извёстка на стенах поблёскивает чешуйками изморози. Ни дать ни взять прямо ледяное царство-государство. И щёки у Людки неживые, и куржак на волосах не тает. Замёрзнет она у него тут! Мать честная! Как пить дать замёрзнет! Что же делать?

Павел бросился к печи – щупать тот округлый бок, где кирпич давно прогорел, обвалился и осталась одна жечь, она-то быстрее всего и нагревалась. Сначала ему показалось, что место уже тёплое, но, подержав ладонь с минуту, он засунул её обратно в варежку.

Открыть топку и подвести Людмилу к теплу, усадить здесь на стул перед живым огнём – вот что надо сделать. Павлуша предпринял несколько скромных попыток толкать огромное тело в бок, призывая подружку немедленно встать да идти к печи, стаскивал за пимы с кровати, но женщина не отвечала, спала на ледяной постели мертвецки пьяным беспробудным сном, дыхание, выходявшее из рта морозным паром, быстро выстужало недвижимый организм.

Нет, так ничего не получится. Может, к утру в комнате и станет тепло, только она не дожждётся, замёрзнет. Павлуша без колебаний сунул руку под шубу – и ужаснулся ещё больше. Живот как лёд холодный, а колени вообще словно мёрзлые поленья, но хуже всего, что снег растаял, талая вода намочила нижнее бельё, проникла к большому раздутому телу, сделав его ледяным и сырым, словно выловленный из реки утопленник. И это на их комнатном морозе в тридцать градусов! Да она замёрзнет через несколько

минут, а не к утру! Переодеть не во что, да и раздевать на морозе бездвижную с его слабыми силами смерти подобно. И ждать печного тепла час-два невозможно, замёрзнет она, сейчас замёрзнет! Уже замерзает!

Павлуша устался в высокое оконце под потолком, откуда светила яркая луна. Хотелось завить волком.

А может, получится подвезти её вместе с кроватью к открытой топке, к живому огню? У костра даже в тайге люди не замерзают!

Он схватил кроватьную спинку, напыжился тянуть изо всех сил, и послушная его желанию кровать легко тронулась с места на своих маленьких, чрезвычайно изящных колёсиках.

Вечная хвала токарю Чеснокову, ай да мастер, ай да человек был! Всё хорошо, изумительно хорошо устроено на свете! А как продумано наперёд! Как только Павел обрадовался, кровать перестала катиться. Он дёргал и так, и этак, кровать гарцевала арабским скакуном на одном месте, тряслась, как тогда в детстве, когда при землетрясении он висел на ней головой вниз, изображая джигита, ездил туда-сюда, куда угодно, только не в нужном направлении.

Через минуту инвалид весь измотался, рухнул рядом с замерзающей Люськой совершенно без сил. Но ещё раз догадался. Просунул ноги меж прутьев кроватьной спинки и начал толкаться от стены ботинками. Кровать снова гарцевала, тряслась на месте, как при землетрясении. Нет, всё бесполезно, не сможет он.

И тут случилось непредвиденное чудо: точно как в детстве, Павлушка ощутил полной грудью неожиданную сладость – предвестницу радиоактивной эйфории.

Сел, стащил рукавицы, прижал ладони к лицу – они оказались чувствительными и тёплыми! Он ещё больше обрадовался, и сказал вслух, как маленький: а здорово нам сегодня будет!

Тут же резво соскочил на пол, испытывая невероятное желание прыгать, бегать и танцевать, затряс Люську сильнее прежнего, но всё так же бесполезно, та замерзала, не желая больше жить. Павлуша схватил её за руку, прижал к своему горячему лицу и, раскачиваясь, заголосил громко:

– Люсенька! Бесценная ты моя, радость несказанная! Миленькая, родименькая, просыпайся! Люсьенчик, деточка, цветочек аленький, красота ненаглядная, встань, проснись, маленькая, хорошенькая-пригоженькая, будет тебе поживать, пора вставать! Прелесть ненаглядная, солнышко светлое, зоренька ясная, только не уходи, не оставляй меня ради всего святого, не покидай! Любимая моя Люська, что же я без тебя делать-то буду?

– Ты чего вопишь? – спросила Людка удивлённым шёпотом. – Обалдел, что ли, совсем? Вот дурачок!

Павлушка дёрнул её за руку, радостно вскричав:

– С Новым годом! Вставай давай, идём танцевать!

– Точно, рехнулся! А сколько время? Ну давай! Тихо, уронишь! О, господи, подожди, куда ты меня потащил?

Тяжело кряхтя, она слезла с кровати. Помогая ей, Павлуша чуть не визжал от буйного счастья, охватившего его лёгкий, пустотелый организм, так захотелось прыгать, бегать да смеяться. Он и точно даже подпрыгнул пару раз, и она тоже, потом стали дурачиться, вращаться на месте, взявшись за руки, как тогда во мгле ударной волны. Сбили на пол погасший огарок, но пальцев не расцепили, и уже снова в ночной голубоватой тьме Павлуша думал, что по такому грандиозному счастью на час ему сил должно хватить непременно, а там, глядишь, и печка разгорится как следует, тогда уж они сегодня точно не замёрзнут. Ах, как жить хорошо стало, да как радостно! Вот где счастье привалило полной мерой!

Дрова в топке загудели. И тут вся комната осияла разноцветным блеском! Яркий луч высветил замёрзшую стену, под потолком изломился, прыгнул через балки, от чего

ледяные чешуйки на извёстке вспыхнули и ну переливаться праздничными красными гирляндами, а с обеих сторон от луча – голубыми! Затрепетало в комнате целое северное сияние!

Наконец-то и сюда пришёл Новый год, вроде царства божия! Всеми правдами и неправдами пробились, пропихнулись они в новую эпоху, обозначенную невесть кем чужим искусственным словом – Миллениум.

МИСТИЧЕСКИЙ ВЫСТРЕЛ

Сухой сучок свалился сверху и шлёпнулся на песок, прямо у него под носом.

Это могло быть предупреждением, или ловушкой. В зависимости от того, кто сидел на дереве. В последнем случае стоит поднять лицо – сразу получишь в глаз, уже чем-нибудь покрепче. Поэтому предварительно нелишне срочно поменять диспозицию.

Будущий естествоиспытатель неловко прыгнул в сторону дерева, при этом сразу запнулся об узловатый корень и пробежал несколько шагов, раскинув для равновесия руки в стороны, как ласточка крылья. Никто не расхохотался. Тогда Костик поднял ладонь, защищая лицо, посмотрел вверх. Он стоял почти вплотную к стволу, и теперь попасть в него стало гораздо труднее.

На самой верхотуре, выше крыши двухэтажного дома, в том месте, где ровный зелёный столб тополя делился на три толстых ветви, на фоне выцветшего летнего неба прыгала и бесстрашно кувыркалась обезьяна-капуцин. От удивительного совпадения Костик сказал: «Ух ты!».

Порывистым движением открыл книжку, которую нёс под мышкой из библиотеки, нашёл страницу, где изображалась обезьяна-капуцин, и прочёл фразу под картинкой: «Излюбленное развлечение обитающих в бразильской сельве обезьян-капуцинов – отламывать сухие ветки с деревьев и бросать их в тапиров или оленей, пугая последних».

Он снова посмотрел вверх, уже не прикрываясь рукой. Указательным пальцем вздёрнул дужку очков на переносье, ибо шести имевшихся в стёклах диоптрий для общения с природой будущему биологу явно не хватало.

Костику двенадцать лет. Изрядный увалень со слишком толстыми ногами под чёрными сатиновыми шароварами и тонкими длинными руками каждый день каникул использовал на то, чтобы ходить в библиотеку. Там он набирал книги о природе и читал их запоем, запершись в доме, как полагается, на три оборота ключа. В его формуляре худенькая библиотекарьша с небольшими усиками вписала: «Увлекается книгами о природе», после чего стала доверительно пропускать в подвал-хранилище, чтобы он самостоятельно подбирал себе книги, плотно стоявшие на многочисленных стеллажах.

Маленькое светлое личико обезьяны-капуцина возмущённо блестело антрацитом огромных глаз. Пальцем она крутила у виска. Хвоста видно не было, капуцины используют его, обхватывая стволы деревьев. Костя поднял дужку очков ещё выше, увеличивая резкость изображения, и различил коричневые шорты, грязные коленки и всего двоюродного братца Гогу, безмолвно махавшего ему изо всех сил, зазывая немедленно взбираться на верхотуру. Он подпрыгивал от нетерпения поделиться с Костяном каким-то необыкновенным наблюдением, изображая кулаками бинокль, поднесённый к глазам, стоя при этом на голой ветке абсолютно ни за что не держась.

Гога на год старше Костики, закончил пятый класс, роста небольшого, но руки очень сильные, отлично приготовленные для того, чтобы стрелять из воздушки в тире и лазить по самым «трудным» деревьям.

Костик оглянулся по сторонам. В том направлении, куда указывал вперёдсмотрящий капуцин, ничего значительного, кроме серого забора, не наблюдалось. Через дорогу, на другой стороне улицы, привычно расплылась на лавочке старушка

Наталья Сергеевна. Она была одинокая, жила в маленьком, заросшем высокой травой домике в проезде, куда летом, казалось, и вовсе не заходила: знай себе сидит на лавочке с раннего утра до самой ночи.

Но тот, что наверху, изо всех сил махал руками, приглашая срочно лезть к нему, как будто не знал, что Костик на этот тополь ни разу в жизни не влезал, предпочитая огромный, толстый, «свой», где на высоте трёх метров уже есть самая настоящая парта с плоским сидением, внизу удобно проходит ветвь – подставка для ног, а выше – для рук. Сюда Костян, пытаясь от перенапряжения, кое-как ещё взбирался. А тут – прямой столб светло-зелёный, на десять метров вверх, с серенькими еле заметными выпуклостями от давно обломанных веток. Однако капуцин наверху выделял непостижимые фигуры, показывая, какое наслаждение охватывает всякого, кто вскарабкается к нему, и что тоже сможет увидеть он, несчастный трусливый тапир, если наберётся достаточно смелости.

Жесты отчётливо говорили Костику, что он конченный трус, и с ним нормальным пацанам не стоит иметь никаких дел.

Ах так? Ну хорошо же. Костик гордо вскинул круглую голову с маленьким коротким носом, проследовал к своей калитке, скрывшись за которой тотчас бросился бежать за кедами, ибо в сандалиях на дереве делать нечего.

После чего весьма энергично бросился на штурм тополя. Гога шипел сверху: «Быстрее, быстрее, уйдёт же!».

«Кто там, интересно, уйдёт?» – размышлял Костя, влипнув в ствол животом, усиленно шаркая по нему ногами, ища очередную зацепку, и сдирая при этом заживо кожу с икр и щиколоток.

«Давай, давай!» – Гога за шиворот втащил неповоротливого тапира в развилку, после чего тот немедленно обхватил руками и ногами одну из веток.

– Видишь, там, в огороде? – спросил, указывая куда-то в прежнем направлении, бесхвостый маленький капуцин с тёмной низко стриженной на лбу чёлкой, стоя одной ногой на ветке, с выражением высочайшего душевного восторга.

– Что?

– Ну, видишь?

– А что надо видеть?

– Огорода старика Грамотеева не видишь, что ли?

Под ними краснела крашенная суриком крыша их дома. Немного далее располагалась крыша грамотеевского дома. Крыши Костик видел вполне удовлетворительно, как верхние три строки таблицы в глазном кабинете. За крышами располагалось темно-зелёное пространство, неэстетично размалёванное близорукостью.

– Ну, допустим, вижу огород.

– А в огороде кто? – торжествующе сдерживая голос, прошипел капуцин, подпрыгнув на ветке так, что, как показалось Костику, весь тополь вздрогнул и пошатнулся.

Тёмно-зелёная мазня не имела никаких особенных деталей. По опыту ему было хорошо известно, что в центре огорода тянулась длинная огуречная грядка, вокруг которой росло до сотни корней помидоров, а ближе к их общему забору шли картофельные рядки. Он помассировал дужкой очков на переносице, без особого, впрочем, эффекта.

– Кто?

– Я первый спросил, кто! Не видишь, так и скажи.

– Ну не вижу.

– А какого чёрта прилез сюда, дурак?

– Так ты сам, идиот, звал: давай, скорей, быстрее!

– Слепошарый!!! Ты почему бинокль не притащил, когда в дом бегал? А для чего тебя зовут на дерево? Чего думал, когда лез, очкарик несчастный?

– Ничего не думал. Ну, думал, что какое-нибудь гнездо здесь.

– Эх ты, недоделанный. Гнезда не видел. С тобой даже поговорить не о чем, вали отсюда, расселся тут, место зря занимаешь, свинятина. Слазь давай!

– Да нет уж, лучше я посижу пока, отдохну.

Оба замолчали.

Костик осторожно посмотрел вниз. Серый песок расплывался и двигался внизу волнами, а толстый ствол ошутимо раскачивался под ногами от невесть откуда взявшегося ветра.

Капуцин, не в силах оставаться со своими чувствами наедине, метался меж трёх ветвей, шибаясь в них маленьким, сильным телом. Жиромясокомбинат расселся, заняв всё место. Как это он ещё взобрался? Пинка ему наладить хорошего, полетит, как божья корова.

– Перестань, свалишься, – сказал Костян, чувствуя приступ дурноты от высоты и тряски.

– Да пошёл ты!

Он попрыгал ещё.

– Знаешь, кто там?

– Кто?

– Любка картошку окучивает в одном купальнике!

– Ну и что?

– Она сейчас лицом к нашему забору вкалывает, думает, что её никто не видит, и лифчик сняла. Знаешь, как у неё всё прыгает? Обалдеть! Да посмотри вон там, куда моя рука направлена.

Костик посмотрел, напрягаясь в прищурировании, столь же безрезультатно, как и раньше. До сегодняшнего дня он не знал, какая сила может заставить его вскарабкаться на это дерево, думал, что никакая. Смешно сказать, оказалось – соседка Любка, окучивающая картошку без лифчика. Эта причина ни в коем случае не подтолкнула бы его на такой подвиг, во всяком случае, если все причины выстроить по рангу, начиная с первой – спасения от африканского льва, то она оказалась бы на последнем, сто двадцать первом месте. А на что надеялся? Чего ожидал? Что мог показать ему двоюродный капуцин на вершине тополя? Какую сверхъестественную тайну открыть?

– Ну и что? Какой нам с того толк?

– Нет, ты только посмотри, она тлячком тля-тля-тля, землю на кустики набрасывает, а грудки в такт прыг-прыг-прыг! – в голосе Гоги слышалась странная нежность.

Жиромясокомбинат попытался представить себе нарисованную картинку. Сделать это не слишком трудно. Десятиклассница Любка летом и на улице ходит почти раздетой; вечером поливает тротуар перед домом из шланга, в одном купальнике, мокрая, и хохочет, обливая прохожих. От воображаемого прыганья он ощутил только резкий приступ тошноты. Главное – не смотреть вниз. Тягучая слюна ушла туда под действием силы тяготения.

Они быстро переглянулись.

– Не вздумай мне здесь блевать, дурак.

– Сам дурак.

– О, всё, ушла. Ни черта себе, выставку достижений народного хозяйства устроила.

– Гога перестал прыгать между веток, присел отдышаться.

Он выглядел маленьким и уставшим. Как старый бесхвостый капуцин, которому скучно жить в клетке. Внизу происходила обычная земная жизнь.

Большие парадные ворота общей ограды распахнулись, и со двора на улицу медленно выполз задом наперёд морковного цвета «Москвич», развернулся и встал на лужайке травы-муравы перед домом. Из машины вышел в костюме и при галстукоте отец Гоги, у которого на голове оказалась лысина, незаметная внизу. Он запахнул пиджак и стал смотреть, как выезжает старший брат Николай на «Москвиче» сиреневого цвета.

– Куда? Куда? Столб снесёшь, – начал снисходительно комментировать он. – Руль влево выворачивай. Выворачивай влево, да не едь влево, а вправо, стой! Стой, говорю!

Через калитку медленно вышли тётки Костяна, приодетые в парадные вечерние наряды.

– Ну что, Евгений, ты и дома на руководящей работе? – поиронизировала тётка Клава, жена дяди Коли, звонким учительским голосом, легко бравшим тополиную высоту.

Дядя Женя, не обращая на неё внимания, бегал вокруг машины, взметая вверх длинную прядь, то и дело спадавшую с затылка на нос.

– Чего творишь, тебе русским языком говорят: руль влево выворачивай, а ты едешь влево...

Дядя Коля, приоткрыв дверцу, ехал, свесившись из кабины, поглядывая на задние колёса. Шофёрская работа не слишком у него получалась.

– Ага? Н-да... Так-так-так, – приговаривал он. – Вот и всё. Вот и проехали. А вы крик подняли.

– Куда это они? – спросил Костян.

Гога презрительно цыкнул вниз.

– В театр собрались. Московский припёрся к нам на гастроли.

– А ты чего не едешь?

– Надо было время тратить на ерунду! – он вдруг рассмеялся. – Вчера маман приём устраивала в честь артиста Жжёнова, у неё знакомая портниха в театре работает, обещала этого Жжёнова с собой привести. Помнишь фильм «Ошибка резидента»? Он там играет. Родители гостей приглашали, понял, да? Сервизы лучшие выставили, угощения, выпивку обеспечили, в доску расшиблись, а потом часа два сидели с постными рожками вокруг накрытого стола, ни к чему не притрагиваясь, все ждали Резидента. А он так и не пришёл, обул, короче, нашу местную агентуру, как хотел.

– А портниха?

– Портниха тоже не пришла. Да кому она здесь нужна одна, без Жжёнова?

Внизу родственники с криками и проверочной беготнёй – не забыл ли кто взять носовой платок или закрыть форточку – загрузились в два автомобиля и, как по команде, красиво развернувшись один за другим, отбыли в драмтеатр смотреть пьесу московского театра. Дом остался пуст.

Глаза капуцина вдруг вновь блеснули желанием.

– Давай слазь по-быстрому. У меня идея.

– Нет, ты первый.

– Ага, а ты потом на башку мне свалишься? Лезь, говорю.

– Нет, я ещё здесь посижу.

– Очко играет?

Костик не ответил. Его руки намертво вцепились в ветку, и он сомневался, сможет ли вообще от неё оторваться.

– Пока я на земле не окажусь, ты даже и не думай спускаться, понял?

– И не подумаю, – легко согласился Костик.

Гога проворно, как скалолаз по знакомому маршруту, сбежал с дерева.

– Эй ты, там, наверху, корова недоенная, пошёл вниз.

Жиромясокомбинат отмалчивался.

Рукою он обследовал ближнюю часть ствола в поисках какой-нибудь зацепки для ног, однако ничего сколько-нибудь подходящего не нашёл. Тогда наклонился ниже, пощупать с другой стороны дерева.

– Ты что, идиот, вниз головой полезешь, что ли? – изумился Гога. – Слушай меня, придурок, я буду командовать, а ты всё выполняй, что тебе говорят. Голову подними, а левую ногу спускай вниз тихонечко, там есть небольшой сучок, на него можно опереться, не вставай на него, как слон, а только опирайся, понял? Руками держись за ствол. Пошёл!

Костик поднял голову, и в это время какая-то невесть откуда взявшаяся веточка пролезла под очки прямо в глаз, он инстинктивно зажмурился, отдёнулся, ветка гибко изогнулась, и очки улетели в туманность.

– Ногу вниз левую, быстро! – раздалась команда Гоги.

Потерять очки, сидя на такой верхотуре, – невосполнимая утрата, но не смертельная, всё равно надо слезать на ощупь. И Костян спустил левую ногу, ища хоть какое-нибудь подобие опоры.

– Вот, вот, опирайся полегоньку.

Почти незаметный сучок хрустнул под вьетнамской подошвой, легко обломившись.

– Да что же ты такое делаешь? – завопил Гога. – Ты мне маршрут испортил, мамонт безмозглый! Вот лоботряс! Кто же так лазит? Какой идиот? Чего теперь-то левой ногой ствол скоблишь? Нет там больше ничего, жопа толстая, никто тебе просто так сучков не делает, их беречь надо, балда осиновая. Правой давай двигай, там есть тоненькая веточка, только её не обломи. Нет, не достанешь, подожди, я подумаю. Да ты подтянись на руках пока обратно.

В пылу Гога забыл, что Костян не умеет подтягиваться на руках. У него путь был только один – вниз. И вот, охватив руками и ногами гладкий ствол, он начал потихоньку сползать по нему, пока резинка от шаровар не затянулась под мышками, а ноги не оголились до самой задницы, тут под коленку упёрлось нечто, пришлось затормозить. Это был сук, через который надо перелезть. Он боялся оторвать руки от ствола. В замешательстве отвёл ненужные глаза в сторону, внезапно увидев прямо перед своим носом: на ветке висят непонятным способом его собственные, целые и невредимые очки.

А чудеса всё же случаются. Надо просто оторвать одну руку от ствола и взять. Преодолев страх, он сделал это. Нацепил очки на нос и сказал:

– Не ори ты там, без тебя слезу.

После этого заскользил вниз по шершавой наклонной, как морковка по тёрке.

Гога подпрыгивал от нетерпения.

– Быстрее давай, ленивец, да прыгай, тут низко уже! Идём, у меня идея обалденная!

Они прошли в калитку, поднялись по лестнице на второй этаж в квартиру Гоги. Хозяин скользил впереди, как лев по саванне, а гость покачивался матросом, только сошедшим на берег после кругосветки.

На застеклённой веранде Гога неожиданно опустился на четвереньки, залез под тяжёлый деревянный диван, сто лет стоявший у стенки, пошуршал там две секунды, и вдруг часть белёной стены отодвинулась в сторону. За ней открылся чёрный лаз в неизвестность, это походило на волшебную дверцу в доме папы Карло.

– Лезь за мной!

Они проползли на четвереньках полметра и оказались... в сенцах квартиры дяди Коли.

Не успел Костян спросить, какого, собственно, чёрта им тут делать, как Гога вскочил и быстро устремился по коридору в дальнюю комнату, которая считалась спальней. Там стояла кровать, а ещё пианино, комод, стол, шифоньер, над кроватью располагался ковёр, выше под потолком картина, изображавшая охотников на привале, а на ковре висела винтовка, не простая, а трофейная, привезённая дядей Колей с войны, из Германии, – с изображением оленей и вепрей с закрученными клыками. Она так и просилась в руки.

Гога тотчас снял ружьё со стены, и вопрос о том, что они делают тут, в чужой квартире, без хозяев, отпал сам собой. Он умело переломил его, обнажив пустой ствол.

– Незаряженное, – прошептал Костян, восхищаясь, как светится воронёная сталь.

– Сейчас зарядим.

Привычным движением капюцин выдвинул верхний ящик комода, достал от задней стенки неприметную серенькую коробочку, открыл, извлёк поблёскивающий медью патрон. Ствол закрылся. Гога взвёл курок.

Восхищённый неожиданной доступностью настоящей охотничьей винтовки, Костян тоже потянул руки:

– Дай поддержать.

– Перебьёшься. Вот теперь можно стрелять, – Гога повёл тяжёлым стволом из стороны в сторону, подыскивая подходящую цель. – Знаешь, как дядя Коля охотился на уток?

– Не...

– А этой весной поехали все на открытие охоты на Колыванские озёра. Сидят утром в засаде, ждут. Вдруг стая – шшшш-ах, села на воду. Дядя Коля: бах! – в утку первым, промазал, стая шшах – поднялась, а эта утка оглушённая сидит. Дядя Коля опять по ней бах!! – из второго ствола, опять промазал! Утка обалдела полностью – плавает прямо у берега, кругом рябь от дробы кругами ходит. Дядя Коля перезарядил ружьё, «так-так-так», – говорит, сам выскакивает на берег из укрытия, и снова шарах по утке! Мимо!! Селезень плавает, хоть бы хны. Дядя Коля «так-так-так», – подбегает вплотную, ружьё чуть ему не в ухо суёт и ба-бах!!! Только щепки в разные стороны!!! Это манок был.

– Что?

– Из дерева сделанная утка, которую выкидывают на воду, чтобы стая не боялась садиться. Открой-ка форточку.

– Зачем?

– Прицелюсь в воробья.

Он встал на стул возле окна, выдвинул ствол в форточку. В листве шумящих за окном тополей подходящей дичи не обнаружилось. Зато напротив, через дорогу, сидела на лавочке толстая старуха. Щека удобно легла на приклад, линия ствола упёрлась через прицел в расплывшееся брюхо.

Наталья Сергеевна с утра до вечера, можно сказать, что и жила на своей лавочке. Когда кто-нибудь выходил посидеть, она начинала разговаривать про погоду или урожай. Обсуждать других соседок не любила. А если общество этим занималось, Сергеевна помалкивала, с отсутствующим видом глядя сначала в левую сторону минут десять-пятнадцать, а когда шея затекала, не спеша поворачивала голову вправо и смотрела на горочку, и кто по ней прошёл, когда опять уставала, снова возвращалась влево. Теперь как раз смотрела налево.

Несмотря на преклонный возраст, её зрение оставалось в норме. Но в ширину распёрло – ни вздохнуть ни охнуть, и ноги почти не ходят. Сама себе уже давно не готовила. Соседки выказывали ей своё расположение, нося, что бог пошлёт: кто жарил пирожки, относил Сергеевне на лавочку мисочку, кто блины пёк, опять же тащил пару-другую блинчиков румяных. Сергеевна не отказывалась, угощалась, а мисочку возвращала сама, с превеликим трудом ворочая раздувшимися ногами.

Наталья Сергеевна видела, как из-за угла показался ходулистый человек с авоськой. Прошёл мимо трансформаторной будки, слегка отшатнувшись, – или оттого, что с похмелья, или из-за страшного гула в будке с нарисованными жёлтым на чёрном фоне черепом и костями. Сам мужчина уж больно худой, мосластый. Пустые бутылки в рваной авоське погромыхивают, будто его собственные кости.

Он шёл сдавать посуду в магазин. Бутылок было девять, по двенадцать копеек каждая, беленькая стоила три шестьдесят две, в кармане бренчала ещё мелочь, но считать, хватит – не хватит, ему не хотелось: прикинешь – вроде набирается, а потом приёмщица, зараза, забракует пару бутылок, бля, и так обидно на душе делается! Впереди расплылась на лавочке старуха в болотно-коричневой телогрейке, с тройными подбородками и выпученными немигающими глазами. Смотрит в его сторону: ни дать ни взять, жаба выползла из тины на кочку, погреться на солнышке.

Ликонцев считал себя человеком невероятно удачливым. Несмотря на запои. За прошедшую жизнь ему два раза везло в особо крупных размерах. Поэтому можно без особого преувеличения считать, что он жил третью жизнь подряд, без перерыва. Первый раз на Ленинградском фронте повезло наклониться в окопе за очередной порцией глины, а взрыв невесть откуда прилетевшей без звука мины в двух шагах снёс перекуривавших рядом с ним ровно по пояс. После этого кто-то сказал, что у него есть шестое чувство, и он поверил в это всей душой, хотя, как ни считал свои чувства, больше четырёх наскрести никак не мог. Может, есть и шестое. Жаль, в Кёнигсберге это самое шестое чувство не сработало, а его так стегануло в грудь навывлет, что до конца войны исключительно в госпиталях обитал, и после тоже. Когда раны зажили, в пробитых лёгких развился туберкулёз, одно лёгкое к чертям оттяпали, болезнь в другое переселилась. Ликонцев лежал тогда в больничном коридоре в очереди прочих доходяг, и ждал конца. Барсучьего сала у него не было, собачьего жира тоже, горькие микстурки не помогали. И тут шестое чувство снова сработало. Ни с того ни с сего он заговорил с прохожим сержантом-связистом, который навещал кого-то и шёл на выход мимо Ликонцева, лежащего в коридоре у маленького окошка, затянутого льдом.

Попросил принести воды. Тот сходил, принёс в кружке, понюхал, добрая душа, перед тем, как пить дать, сматерился и выплеснул в сырой угол. Намочил полотенце в лужице на подоконнике и дал пососать больному. Сказал, что вода талая изо льда есть самое полезное лекарство на свете, почти как святая вода. Может, и пошутил, но в тот момент Ликонцев был в таком состоянии, что поверил, стал собирать талую воду с окна и пить, а порошки тихонько высыпать за кровать.

Через два месяца его выписали в мирную третью жизнь почти здоровым скелетом.

Вдруг ни с того ни с сего шов на спине зачесался, от него мурашник ударил в затылок, Ликонцев, болезненно ослабившись, повернул голову. Тотчас в глаза бросился двухэтажный дом, каменный белёный низ, деревянный обшитый верх, угловое окно на втором этаже с деревянным узором, форточка и ружейный ствол, преследующий его движения. Пехотинец слетел с ног, стараясь угодить в пересохшее песчаное русло весеннего ручейка, куда в апреле отводят от домов воду, а летом сливают остирки, добротнo пахнущие хозяйственным мылом. Пополз, старательно втискивая небритую щетину в мыльный синий ил, прижимаясь к матушке-земле, защитнице.

Однако еле приметное русло – ненадёжное убежище. Проснувшееся шестое чувство нашёптывало, что он наполовину виден через форточный прицел, и надо быстрее добраться до тополя, толстый ствол которого послужит более надёжной защитой.

Наталья Сергеевна с жалостью и пониманием разглядывала неверно топающего по земле человека, не считая это занятие непристойным для женщины её возраста. Как вдруг, не дойдя до лавочки шести-семи шагов, тот рухнул на землю со страшным звоном, заелозил по-пластунски, подволакивая за собой по земле сетку с бутылками, из которой сыпалось крупное стекло, напоминая воина, героически ползущего навстречу танку со связкой гранат. Сергеевна на войне не была, но в кино видела. «Ишь ты, вот ведь до чего водка довела, – подумала она, – на лицо-то знакомый, ходит здесь часто, а кто – не знаю. Ногами сучит, как бы не помер, сердешный. Звать народ надо».

Тем временем Ликонцев благополучно дополз до тополя, быстро вскочил и прижался к нему спиной.

Выглянул. Форточка оказалась закрытой, ствола не было. Он быстро пошёл дальше, оставив Сергеевну в одиночестве размышлять о вреде пьянства в течение последующих сорока пяти минут пенсионного времени.

– Видал, как мужик обоср...ся? – радовался Гога, прыгая с ружьём по комнате. Ползком пятьдесят метров пропахал.

– Не пятьдесят, а пять. И вообще, зря ты это. Вот вызовет сейчас милицию, и приехали.

– Трус ты, жиртрест, понял? Всего трусишь. Смотреть тошно, пристрелить тебя, что ли? А ну, встань к шкафу. Стоять, я сказал! – приставил ствол к груди кузена, подтолкнул к дверце шкафа. – Руки вверх подними, не дёргайся, мне нажать курок сейчас ничего не стоит, дёрнешься – нажму.

Жиртрест поднял незагорелые руки с длинными синими венами на локтях, ободренные красными полосами.

Гога при виде таких конечностей удручённо покачал головой и сплюнул на ковер.

– Не трусь, я же понарошку, играю. Чего это там?

Снова подошёл с винтовкой наперевес к окну.

– Приехали! Машины приехали! Чего стоишь, как фашист недобитый? Давай всё на место, и тикаем. Поворачивайся, Костян, патроны в комод, быстро! Чего это они так резво закруглились, обалдуи? Руку даю на отсечение: опять забыли выключить утюг или плитку, вот придурки чёртовы. Бежим!

Однако чему быть, того не миновать.

Желание трофейной немецкой винтовки реализовать свою смертоносную суть сделалось неодолимым, как похоть. Оно метилось в Наталью Сергеевну, выслеживало сверхчувствительного Ликонцева, зыркало стволом в испуганные глаза Костяна, но всё как-то неудачно складывалось раз за разом. И шесть долгих месяцев подряд ружьё провисело на ковре, хищно и нежно изгибаясь, созревая и дожидаясь своего часа, как воплощённая в дереве и металле суть женщины и змеи.

Какая мужская рука не потянется к ней? Женщина-змея стала ещё более привлекательной и соблазнительной, чувствуя в своём чреве приятную тяжесть. Ей надо выполнить своё законное предназначение, хоть ты сдохни, а она осуществит его во что бы то ни стало. Чему быть, того не миновать.

Это случилось ранним зимним утром, в воскресенье, когда никуда не нужно спешить, а можно подольше полежать в постели, слушая новости по радио и глядя, как низкое белое солнце, будто пронзая заиндевевшие тополиные ветви, горит всеми цветами радуги на рисунке настенного ковра, нежно золотя ружейный металл. Лаская взглядом свой военный трофей, хозяин поднял руку и...

Выстрел прозвучал неожиданным, злорадным волшебством.

Дело неприятно осложнилось ещё тем обстоятельством, что в висячем положении ствол был нацелен в шифоньер, внутри которого на плечиках аккуратно висели в ряд, одно к одному, платья, костюмы, пальто и плащи, а также разные прочие сорочки.

Хорошо, что декабрьские морозы уже дали всем прикурить, и самые дорогие, зимние вещи перекочевали из шифоньера на вешалку в прихожей.

Между прочим, тем только и спаслись. Но это частности. А представьте, какой удар по психике в воскресное утро!

На многие годы этот выстрел незаряженного ружья стал притчей во языцех на всех фамильных сборищах, посвящённых в основном дням рождений. Гостей за руки приводили в спальню показывать многострадальную лакированную мебель, заставляя сунуть палец в дырку.

Лет через тридцать-сорок фамилия разрослась кратно, уже трудно и за стол стало попасть во время очередного юбилея, тут вам и кумовья, и сваты с зятьями, снохи и сношеницы, внучата дорогие, и даже внучатые племянники появились, а столы остались прежние, шифоньеры тоже.

В театр всей семьёй на Жжёнова уже не ездят, а в церковь ещё не ходят. Да вряд ли и пойдут. С некоторых пор увлеклись мистикой и народной астрологией – в какие дни новолуний правильно сажать огурцы. Давний, ужасный случай самострела, почти семейный триллер, оброс многочисленными сопутствующими подробностями и всё ещё поражает воображение родственников, но как бы отошёл в область седых преданий, служа для новомодной мистики удобным постаментом. Разговор поворачивает в эту сторону не ранее пятой рюмки, но и не позже седьмой. Будят заснувшего старенького

дядю Колю и заставляют пересказать семейную трагедию ещё раз. Дядя Коля рассказывает с превеликим удовольствием.

– Плащи у нас были почти что новые, – вставляет свои замечания тётя Клава. – Отдали в ателье заделать. А платья и рубашки простреленные жутко на тело надевать, пришлось выбросить – ещё беду притянут какую-нибудь.

– Мистика натуральная, – соглашается дядя Женя, заправляя ветхую прядь за ухо, – просто день так совпал. Парад планет!

Но тут в разговор влазит сватья Кукина и, как всегда, портит всем настроение:

– Хорошо ещё в шифоньере никто не сидел! – объявляет она, испуганно тараща глаза.

– Кто мог сидеть в шифоньере с утра в воскресенье? Чего мелешь-то?

– Да мало ли, раз мистика приключилась! Да ещё какая! – дуря от смелости, атакует сватья. – Вон третьего года у Варвары с Борзовой Заимки что было...

Её спешно останавливает дядя Женя. Встаёт во весь рост и произносит восьмой тост.

Дядя Коля выпивает махом вперед окончания речи, закусывает солёным огурцом, выкрикивает громко: «Топится, топится в огороде баня!» – озорно всех оглянув, тут же засыпает, уронив голову на руки.

Кругом поднимается шум. Родственники торопятся поведать друг другу о новейших мистических происшествиях, с ними приключившихся, о Нострадамусе и очередных парадах планет, которые вот-вот должны произойти, и какие природные катаклизмы из-за этого неотвратимо грянут.

Только двое не принимают участия в общей беседе о природе иррационального в домашнем хозяйстве. Один скучно помалкивает, а второй раздражённо бормочет себе под нос:

– Триллер, триллер! Уходя, гасите свет! И выключайте бытовые электроприборы, балбесы! И мистики вам никакой не явится!

Но никто его не слушает. А зря. Порядка в данном вопросе как не было, так и нет до сих пор. Стало быть, от самых, что ни на есть мистических триллеров снова никто не застрахован.

ЯШКА ОБЕЗЬЯН

В глухой черноте ночи золотой месяц высветил близ себя серебристую верхушку тополя, рядом с которой – в метре, не более – на высоте необыкновенной неба, спиной к самому месяцу, сидит на темноватом облаке мужик и курит цыгарку.

Пиджак от лунного света перекрасился в жёлтый цвет, и страдающая дальновзоркостью тётка обязательно углядит, что одёжка немного разошлась по шву на рукаве.

На голове сидящего обычная фуражка, лица в тени не всяк разглядит, но, само собою разумеется, зовут небесного мужика Яшкой.

Соседи вышли на улицу из домов и огородов перед сном семечки пощёлкать. На радость всем нынче подсолнух уродился, такие шляпы висят у заборов, что дай вам боже! Посему, сотворив необходимые домашние дела и сломив на краю огорода этакую голову, обив её как следует о колено, добрая хозяйка может запросто простоять с одиннадцати вечера до часу ночи и не заметить, осилив лишь половину подсолнуха, остальным одарит прочих, чтобы тоже не скучали. Иной раз кто посмотрит на полный месяц, увидит Яшку, и скажет:

– Глядите-ка, опять Обезьян на небо влез.

– И то, – ответят ему рассеянно.

Ибо не велика новость.

А другое дело – узнать, как в третьем годе Серафима Андреевна с Третьего Прудского ездила на Гору за грибами со своими домочадцами, и набрали они в тот раз ужас как много, причём не каких-нибудь там синюшных сыроежек, толку с которых мало – под рукой крошатся не дожидаясь обработки, а хороших, молодых, крепких боровиков, вовсе не червивых.

Чуть не задавились на обратном пути тащить по двухведёрной корзине каждый, по ведру, да ещё по самодельному рюкзаку за плечами, а потом нечистый начал путать вокруг тюрьмы.

Уйдут вроде совсем в другую сторону, идут-идут, идут-идут, где-то совсем близко дорога должна быть, даже шум придорожный мерещится – ага, вроде гул от проносящихся грузовиков, не иначе. Значит, и остановка автобусная рядом имеется, и лавочка для отдыха уставших пешеходов. Бросятся туда всем гамузом сквозь хвойный частокол – глядь, за сосенками опять забор четырёхметровый с колючей проволокой вырастает, вышка с автоматчиком. Мама родная! Не к добру! Уж и крестились все, и плевали через левое плечо – нет, водит лесной хозяин по кругу, не хочет грибы отдавать, слишком много набрали.

Три раза от тюрьмы уходили и три раза опять возвращались, будто привязанные. Про то, как устали, и говорить нечего – руки отмотали, ноги не несут больше.

Делать нечего, нашли укромную полянку неподалёку, рассыпали по ней крепенькие боровички ровным слоем. Со слезами, конечно, – эх, красота необыкновенная сделалась на той полянке, так бы и не уходил никуда, сидел да смотрел – наслаждался! По корзине себе оставили, много легче идти стало.

Вот от силы минут через пятнадцать, непонятно каким образом, но запросто вышли к дороге. Даже обидно сделалось. Хотели вернуться, грибы забрать, хорошо Серафима Андреевна не позволила, она баба умная. Теперь уже два года после того ходят только на эту полянку: с утра пораньше придут, наберут каждый по корзине двухведёрной белых, будто с грядки, и айда на автобус! Кто ещё чего, тепыляется только, а они обратно едут – располным-полна коробушка. Через неделю туда же наведаются – снова по корзине на брата. По лесу рыскать не надо, всё в одном месте берут, как в своём огороде.

– Знай меру – сказал Неру!

– Точно.

И полились одна история за другой – что народу Яшка? Отрезанный ломоть, не иначе. Потому как общаться по-человечески и соседски перестал. Вместо того себе приключений на небе ищет и найдёт, обязательно найдёт, не зря же люди говорят: повадился кувшин по воду ходить – быть ему битую!

Редкий прохожий, что идёт не по тенистому тротуару, конечно, а прямо по дороге, ибо светлее там чуть, два фонаря из трёх светят, иной раз не в добрый час задерёт голову – и увидит Якова на небе по соседству с ухмыляющимся щекастым месяцем. Почему прохожий редкий?

Так не проезжий тракт вам здесь, чего без дела шляться всем подряд?

Со стороны Четвёртого Прудского весной и осенью квартал защищён крупнейшей лужей, раскинувшейся поперёк проезжей части. Пусть летом лужа и подсыхает слегка, но грязь всё равно остаётся такая, что легковые машины аж буксуют, а в осенне-зимний период движение транспорта с этого конца полностью отменяется. Перед тротуаром на углах квартала крутые валы насыпаны, чтобы вода из моря-лужи к домам не подошла, – чуть ли не выше крыши.

Опять же пешеходная тропа перегорожена вбитыми в землю ржавыми трубами, швеллерами – на тот случай, чтобы хитрые машины у домов не начали лужу объезжать, редуты стоят похлеще всяких вам противотанковых ежей. Так что если ночной прохожий вал вздумает форсировать, то, скатившись с него на территорию квартала, первым делом впечатывается в швеллер. Это летом.

А про зиму надо ли вспоминать? Такими сугробами завалит – не пройдёшь, не выйдешь, если тропки сусанинской не знаешь.

Поэтому, слава богу, обходимся без ночных гулящих, что распевают дурными голосами песни да стучат в ставни, требуя вывести их к трамвайной остановке, стало быть, тихо внутри квартала по вечерам и ночам, словно в уютном семейном дворике.

И сейчас всего один гость забрёл между Третьим и Четвёртым: крепко выпивший возчик из конторы “Гужтранспорт” Денис Степаныч, дюжий человек в рабочей одежде и кирзовых сапогах. По географической ошибке здесь оказался, ненароком. Перепутал с пьяного оторопа, свернул не в своём обычном месте, да пошёл напрямки по колею, от одного фонаря до другого, не обращая внимания на болото под ногами. Какая разница трудовому человеку, по какому кварталу до своего родного дома пройти?

Брёл он, брёл в темноте, из колеи выпал на паслёновый луг, а того не заметил, и с чего-то удосужился глянуть на месяц – хоть там посветлее, и тут увидел внезапно мужичка знакомого, в то время как продолжал идти дальше домой, а вслед ему скользили по небосводу, как по маслу, жёлтый месяц и мужичок поднебесный тоже.

– Яков, закурить не найдётся?

По верхам деревьев ночной ветер здорово гуляет, ерошит тополевы кроны, шерстит ими серьёзно, как банщик берёзовым веником, не достал голос до неба.

В сердцах плюнул Денис Степаныч под ноги, да пошёл далее, целясь выйти к следующему придорожному столбу, на котором лампочка исправно горела.

Пока пьяный конюх шаркался меж столбов на дороге, местные жители в тени домов приостановили разговоры, наблюдая за его движением, а после продолжили с прежнего места:

– А вот интересно знать, видела ли Серафима Андреевна Самого, когда блудила по лесу?

– Да ты что! Кто ж его видит?

– А я вот видела, почти как тебя. Тоже заблудилась однажды в детстве, по землянику с подружками ходила и отстала от всех, местечко нашла ягодное, пока обобрала его, время ушло. Они аукают где-то, я бегу туда, а эхо всё тише и тише, потом совсем перестало. Ладно, думаю, сама дорогу найду. Вроде знакомые места кругом, вот здесь надо свернуть да две гривки пересечь, и тропинка появится. Иду-иду, – совсем другое место, опять похожее на то, где потерялась. А ягоды, ягоды кругом – всё красно! Полное лукошко набрала, наелась, а её будто ещё больше кругом, и девать некуда. Вечереть стало. И как-то так не по себе сделалось.

Вышла из леса на открытую поляну, куда дальше податься – не знаю, со всех сторон деревья тёмные стоят, даже предположить не могу, в какую сторону идти надо. Вдруг вижу: сидит старичок на пеньке – сутуленький, с палочкой, отдыхает. Не в мою сторону сидит, а в другую, вижу его со спины. Обрадовалась, кинулась скорей: “Дедушка, покажи дорогу до деревни!”. Подбегаю – никакого старичка в помине, пенёк есть, на старичка совсем непохожий. Странно, думаю. Вот только что был здесь. Куда отошёл? Посмотрела кругом: так вон он где сидит, в одной руке палка суковатая, в другой сума. Бегу снова, глаз не отвожу, подбегаю – да нет же, обычный куст, не похожий ни капельки на человека. Как смогла перепутать? Так раз пять по той поляне из стороны в сторону кидалась. Потом испугалась, что дедушка-то этот совсем даже не человек, бросилась напрямки куда глаза глядят, бежала, бежала, чуть не умерла от страха, прямо на покос выскочила к отцу-матери. А ягоды в лукошке чуть только и осталось, на самом доньшке.

С неба раздалось осторожное: тюк-тюк.

– Опять взялся за своё.

– Не терпится человеку.

– Да уж он и не похож на человека, лазит мартышкой по небу с топором. Как жена его только выносит? И сама перестала на улицу выходить, стоять с нами, верно, стыдно ей за Яшку.

– Она говорит, что на почте ей народа хватает, да ещё надолбится за день штемпелевать, отдохнуть, говорит, от народу хочется.

Сидя высоко над всем прочим миром, Яшка, нешироко помахивая топориком, рубил чёрно-бархатные небеса: тюк-тюк-тюк... без остановки, целеустремленно.

– Нет, совсем Яков испортился, – вздохнула не без сожаления Анна Фроловна, поглядев наверх, – раньше не был таким.

– А всё после того началось, как тополь на дом его упал во время грозы.

– Если бы тополь упал, от дома бы ничего не осталось. Не тополь, а ветка.

– Ничего себе ветка – крыша вдребезги, сколько шифера разбила, он на этом деле и помутился.

Ветка в грозу действительно падала, но не с того Яков наладился на тополь лазать каждый вечер, рубить его топориком, а по выходным на верхотуре даже дnevать и вечерять, на то имелась другая, более веская причина.

Однажды возвращался он с работы засветло, и обратил внимание, что на его родном уличном тополе, который жена по весне каждый год белит остатками извести, от вредоносных насекомых спасая, из старого дупла, оставшегося от давно отпиленного ствола, торчит гриб – и на вид вроде опёнок.

Подошёл шофёр глянуть: нет, не опёнок это вырос, так себе, обычная поганка. Отломил гриб с дерева, тот легко отвалился вместе с большой деревяшкой, ветхой да лёгкой, как бумага.

Оказывается, дупло здорово прогнило внутри ствола. Решил Яков его прочистить, чистил-чистил, целую гору трухи на земле наворотил, а до конца не докопался, руки не хватает, и тут вдруг понял, что весь огромный тополь в этом месте практически пустой, держится на одном неизвестно чьём честном слове. Сам Яков в данную минуту не может поручиться, что дерево не упадёт вот прямо сейчас же от любого мало-мальского дуновения ветерка. Вон у него какая крона огромная. Поднял глаза к небу и зажмурился от страха: вес-то какой! А на чём держится? На одной коре, почитай! Ей-ей, рухнет великанище и раздавит домишко к чертям собачьим!

За ужином поведал жене про очередную житейскую неприятность, которых случается у русского человека на день по нескольку штук. Жена Фрося запаниковала, заохала: так что же это будет, да что же нам, бездомным, тогда делать, если дерево на дом рухнет? А если ночью вздумает упасть, когда спать будем?

Яков пояснил, что в последнем случае как раз, скорее всего, им лично ничего делать не придётся вообще. Но всё зависит от направления ветров: может, ещё и в сторону дороги, по счастью, опрокинется, на электрические провода, тогда просто без света останемся недели на две.

Фрося впала в немоту, затем – нет худа без добра – порадовалась ещё раз, что дочка Оленька уехала на целину, и хоть ей, кровинушке, ничего не грозит.

То было первое упоминание о пропащей дочери, которая, говорят, в той неизвестной стороне собралась замуж, но родителей не только на свадьбу не пригласила, но даже не поставила в известность, а узнали они через третьи руки по случайности, и тогда написали грозное письмо совместными усилиями, но уж какой месяц пошёл, а ни ответа ни привета.

– Надо тополь срубить, и все дела, – высказал мысль Яков, натывая на широкую вилку побольше румяной жареной картошки из сковороды, отправляя в рот, да закусывая хрустящим малосольным огурчиком.

Жена Фрося перепугалась ещё больше.

– Сам не смей думать трогать городское озеленение! Так штрафанут, что без штанов останешься! Надо идти в райполком, попросить, а лучше пожаловаться письменно. Пусть райполком убирает своей техникой.

Уговорила мужа заехать в райисполком написать заявление о грозящей опасности их частному дому и всем горэлектросетям в целом.

Как водится, в исполнительной власти начали Яшу гонять по кабинетам и этажам, не давая роздыха, лишь бы избавиться от назойливого просителя: то в канцелярию с заявлением, то в приёмную на подпись, но там не приняли, направили к товарищу Чубатому в Зелентрест, оттуда к районному депутату Стеклярскому, которого не оказалось на месте, пока не вспомнили, что существует межведомственная спецкомиссия по сносу старых деревьев, что собирается раз в год и составляет список – какие великаны должны быть снесены в следующий период.

– Вот в эту комиссию своё заявление и пишите! – подсказал вернувшийся с обеда Стеклярский. – Они проверят, составят резолюцию, внесут в план, предрик подпишет – и тогда Чубатому не отвертеться, хоть и склизок, как лягушка, – обязан будет тополь снести в отчётном году, кровь из носа!

– Да ни боже мой, – сказала запыхавшись курьерша, принёсшая в кабинет депутата какие-то бумаги, – план составлен вперёд на пятилетку. Пятилетка кончается через четыре года. Кто станет переделывать пятилетний народно-хозяйственный план из-за какого-то внеочередного гнилого дерева? Покажите мне такого человека! Вот когда будет комиссия годика через три снова по улицам ходить, деревья рассматривать, вы им тогда скажите, чтобы снесли, а теперь бесполезно даже заявление оставлять. За такой срок уйма народу

сменится, бумага канет в недрах аппарата. Зря понадеетесь. Видите, сколько их каждый день пишут? Кипы! Читайте, товарищ Стеклярский, это по вашу душу!

– Во! – поднял указательный палец депутат. – Гласом курьерши глаголет истина! Кстати, на какой улице проживаете?

– По Краснореволюционной. Между Третьим и Четвёртым.

– Тогда вообще какой может быть разговор, ежели ваш квартал – победитель в городском соцсоревновании по озеленению? Нет, едва ли позволят и в следующей пятилетке городскую достопримечательность уничтожить, едва ли. Я бы, во всяком случае, не поручился.

Без толку искал правду Яков в кабинетах, только время потерял.

Через три дня наведалься страховой агент, принёсший голубенькую бумажку на оплату государственной обязательной страховки на его частный дом. Семнадцать рублей пятьдесят восемь копеек за полгода.

Сумма немалая, и обычно Яков оплачивал через сберкассу, с зарплаты, а тут решил сдать сбор сразу, чтобы вопрос хмурой агентше задать.

– Вот если, допустим, тополь на мой дом рухнет и раздавит строение до основания, получу я страховку или нет?

– А давайте посмотреть договор, – сказала агентша, мигом перекроив выражение с хмурого на деловое, – там от имени государства всё прописано, что полагается. Вот видите, договор заключён на случай стихийных бедствий, и каких именно: потопа, оползня, – видите? И на случай пожара. Про тополь ваш здесь ничего не сказано, стало быть, случай будет нестраховой. А что у вас с тополем случилось?

– Сгнил в основании. И райисполком сносить не желает, может, года через четыре-пять. Что делать прикажете?

– Тополь общественный, уличный, поэтому срубить его нельзя, а вот обрубить сверху – можно, в санитарных целях, разумеется, чтобы гля не разводилась. Оставьте столбик метра три высотой, и хватит, тогда не сломает ваш дом, даже если упадёт.

– И не достанет даже, – обрадовался Яков.

Вот где ума палата, совсем даже не у курьерши, а у страхового агента!

Теперь каждый вечер надевает Яков резиновые чуни и на дерево лезет. С топором да пилкой. Освоился со временем, ступенек нарубил, и собственный вес скинул, чтобы поворотливей управляться. Народ уж спать укладывается, а он всё тюк-тюк-тюк-шщур! Мелкие веточки самоходом вниз летят, отпиленные чурбаки на верёвках степенно опускаются. Дела идут – контора пишет!

Лучше чувствовать себя стал в непрестанной работе, ловкость обезьянью приобрёл. За работой думы наплывают в голову, вроде как перистые облака на луну. Знает, что соседи меж собой зовут его Обезьяном, но по-прежнему здороваётся, а стоять да разговаривать с ними перестал, работы полон рот по спасению недвижимого имущества и живота своего! Что соседям не болтать? На них, небось, тополь не валится. Стой да лясы точи хоть весь вечер напропалую, а то и целую ночь, если на пенсии – днём отоспишься. А у него работа срочная! Хотя бесплатная, но жизненно необходимая!

На сегодняшней вечер наметил Обезьян программу: новую ветку зачать рубить, толстенную.

Глядь – а на развилке той ветки нечто вроде гнезда устроено, и сидит на нём во тьме женская фигура в длинном платье, в котором лазать по деревьям совершенно невозможно. Невероятно странная ситуация: гражданка... на дереве... ночью... в длинном платье. Кто её сюда затащил? Что за цирковая программа?

– Девушка, вы к чему здесь приютились на ночь глядя?

– Я зелёный патруль из Общества охраны природы, слежу, как вы зелёные насаждения губите.

– Вот не заметил бы сейчас, и срубил ты под корень, охранницу, тогда сразу бы узнала, как ночами на чужих деревьях рассиживаться.

– Уж очень вы грозный, как я посмотрю. Природу изничтожаете по ночам. Бессовестно так поступать взрослым людям.

Яков обиделся.

– Мелко плавала, девушка! Будет тут мне всякая указывать, чего делать! Нехорошо старшим грубить! Кто людям грубит, тот замуж никогда не выйдет!

Наступило молчание, после которого гостя высказалась тихо, но отчётливо:

– Сам дурак.

Сделав вид, что не расслышал, Яшка взялся тюкать по другой ветке. Минут через пять устроил перекур и снова поинтересовался:

– Студентка, что ль?

– Учащаяся профтехучилища.

– Так бы сразу и сказала. Небось, приехала из деревни, денег нет квартиру снять, на дереве вздумала обитать? А свалишься ночью во сне и шею себе свернёшь, мамка–то плакать будет, не жалко мамку? Вон и мокрая вся, здесь ведь дождь да ветер на дереве. Не жильё.

Платье на девушке длинное, но, точно, мокрое, облеплена она им, а ноги свесила вовсе босые.

– Вам не жильё, а мне дом родной, – сказала, и безбоязненно разлеглась на ветке, подставив локоть под голову, вся залитая лунным светом, за исключением лица. – Я, может, здесь загораю, а вы мне мешаете, носитесь со своим топором, как чёрт с писаной торбой.

– Эх, девушка, девушка, ведь только случайно вас заметил, и вниз не срубил, а вы всё пререкаетесь со старшими... Дочка моя тоже вон как грубила, даже не захотела жить дома с нами, скушно ей казалось, неинтересно, после школы поехала целину поднимать, а теперь и не пишет, и не звонит – характер показывает. Так что, думаете, добрая жизнь у неё выйдет? А всё по мелочи, с грубости старшим начинается.

Обезьян сердито затюкал, только щепки полетели.

Поднебесная гостя села, свесив распущенные волосы вниз.

«Свалится, потом отвечай за неё», – подумал Яков.

– Вчерась ночью встала, – раздались слова Анны Фроловны, сказанные у ворот дома с зевком, – пошла в огород. С вечера-то развесила на трёх верёвках пододеяльники с простынями, дай, думаю, гляну-проведаю.

– На всякий пожарный случай, – вставила со смешком ироничная Кривошеина.

– На всякий пожарный. И вот, представьте себе, в огород только выхожу, как слышу – непорядок: вода в душе льётся. Ах ты, боже, что за наказание, опять Женька забыл выключить, поросёнок! Иду по доскам к душе, как вдруг стоп! – вода сама собой перестала течь и не так чтобы в баке совсем кончилась, а вроде кто-то резко перекрыл кран. Р-раз – и тихо. Прямо мёртвая тишина наступила, ни звёздочки, ни ветерка, одна чернота беспросветная кругом... «Кто там?» – спрашиваю, хотела добавить «моется», но дыхание в груди перехватило. Вдруг как дверь хлобыстанёт нарастапашку, а девка как скокнет оттуда через грядки, да промеж простыней с пододеяльниками прыснула в сторону кривошеинского огорода.

– Лица не видала?

– Какое лицо, только по спине догадалась, что пряткая девка. Стою, ни жива ни мертва, язык отнялся, вдруг кто там ещё есть? Кинулась в дом, будить Кузьму, вдвоём душ осмотрели – точно, в нём только что мылись, пар стоит и мыло скользкое, а вещей – никаких.

– Так она голая сбежала?

– Вроде нет. Будто в платье или халате светлом.

– Да точно воровка, уж вы на этот счёт не сомневайтесь, – высказалась Кривошеина, – решила сначала помыться, а потом уже верёвки с бельём срезать. То-то я

смотрю, у меня с вашей стороны несколько подсолнухов сломлены, а шляпы остались на месте, это, значит, она в этом месте через штакетник скакала.

– Воровка не воровка, сказать не могу, но вёртка девка, простыни не успели трепыхнуться, а её уже и след простыл.

– Вот и выходи ночью в огород по нынешним временам, – печально вздохнула Дарьюшка. – Чего только не творится... прости господи. А всё от того, что на Пивоварке нефтебазу построили. Нынче не вода в речке, сплошной мазут с соляркой текут. Жить им, сказывают, негде стало, вот они и наладились в город приходить ночами, от нефти отмываться.

– Кто наладился?

– Известно кто. Уж на такую полную луну и не спрашивай лучше.

– Утопленницы, что ли?

– А то... русалочки души.

Улица, на которой расположился квартал, концом упиралась в мелкую речку Пивоварку, и продолжением оной служили низенькие деревянные мостки, по которым носили покойников на другую сторону, где располагалось городское кладбище. Соседки все как одна при последних словах Дарьюшки повернулись в ту сторону улицы, где мигали дальние огоньки.

– Иван Сазоныч из крайнего дома, царствие ему небесное, – продолжила Дарьюшка, – сказывал, что другой раз забудет с вечера ставни закрыть, и если луна большая, как сегодня, то спится ему ужас плохо. Светло в комнате делается, словно днём. А в окно хоть не смотри. Мало того, что на той стороне реки огоньки загораются, так даже на мостках девки в саванах рассаживаются, ноги в воду опустив. А под утро затевают друг за дружкой гоняться, но тихо, ни возгласа, ни вскрика...

– Так нынче им где купаться прикажете? Теперь русалки в город заходят отмываться от нефти в душах и огородных бочках, не иначе.

– У Яшкиной Фроси тоже все бочки порасплескали. Они с мужем уйдут утром на работу, дома никого не остаётся, вечером придут – огород поливать нечем, вся вода на полу, бочки почти пустые.

– Мальчишки балуют. Знают, что нет никого, вот и лазят в ограду.

– Да, устроила дочка им радость под старость лет, на целину умотала с классом. Весь класс давно вернулся, а её нет.

– Слишком уж разругалась с отцом на прощание.

– Так за дружкой своим наладилась. А он там возьми да женись, и не на ней, вот вам и целина казахстанская, вот вам и комсомольский подвиг впридачу. Подружки её – те которые вернулись, – сказывали, что она перед свадьбой ещё с места сорвалась, переехала то ли в другой колхоз, то ли ещё куда, прямо на ночь глядя ушла. Никому ничего не сказала, вещи забрала – и поминай как звали.

– Вернулась бы домой.

– Так побоялась, наверно.

– Теперь на чужбине судьба ей горе мыкать. Смущают только детей газеты, а что с ними будет потом на комсомольских тех стройках, никого ведь не интересуется.

– А слышали, что с Игнатьевной приключилось, из проезда? У неё ванна в огороде стоит – из алюминия, двухметровая, воду держат для полива. И вот ночью, как тебе, Анна Фроловна, приспичило Игнатьевне податься чего-то в огород. Идёт по тропинке мимо той ванны, а оттуда вдруг поднялся во весь рост голый человек... как вода с него хлестанёт по округе! И бежать! Игнатьевна так и обмерла. Муж-покойник померещился, которого в той ванне обмывали. Еле-еле отходили Игнатьевну. Потом только вспомнила, бедная, что вроде бы женская фигура была.

– Так и помереть недолго!

“Вот разболталось бабьё! – подумал Яков. – Шли бы по домам лучше, завтра ж не выходной, на работу рано вставать! Напугают вечно друг дружку, что потом бояться до своей калитки в одиночку идти”.

– А и вправду пора домой, – зевнула Анна Фроловна. – Кузьма уж, поди, седьмой сон видит.

И все разошлись, сдав хозяйке табуретки.

Один Обезьян неустанно тюкает дятлом на тополе, однако и он понимает, что пора утихомириться: спускает вниз на верёвке топор, пилу, и слазит сам. Учащаяся остаётся сидеть на ветке одна-одинёшенька.

“Упадёт ночью на крышу – шифер сломает, – томится дурным предчувствием Яков. – Вызывать милицию – это надо чёрт знает куда идти к телефон-автомату, да и не приедут они, скажут – не бузотёрит, значит, общественный порядок не нарушает”.

– Девушка, – зовёт он снизу почти просительно, – пойдём, так и быть, переночуешь в дочкиной комнате.

– Спасибо, дяденька.

Бесприютная учащаяся слезла с ветки, пошла за ним в дом, где уже потушен свет и спит жена. Будто ей того и надо было. Впустил Яшка нежданную квартирантку в комнатку и наказ дал:

– Только ничего не трогай там, договорились? Кроме постели, разумеется.

Стоя на пороге, она кивнула мокрыми волосами да быстренько дверь за собой прикрыла.

Яков почувствовал некое облегчение. Лёг спать с чистой совестью, и сразу заснул, а утром скорей вслед за женой на работу, позабыв про квартирантку, убежал.

Вечером начались неприятности.

На пороге дома его встретила жена.

– Иди, вызывай милицию, – говорит, – надоело терпеть, сколько можно! Мало того, что всю воду из бочек расплескали, опять огород поливать нечем, так ещё и в дом забралась!

– Кто?

– Кто-кто... пацаны соседские, кто же ещё? Вот пусть милиция и найдёт, кто. Смотри-ка, что в Ольгиной комнате сотворили! Всё вверх дном перевернули! Это куда такое годится? Это что же за люди из них вырастут?

И точно! Все игрушки скинуты со своих мест, разбросаны где попало, будто толпа пацанов разыгралась, на полу песок откуда-то взялся, ветки гнилые, мокрые, камни, – будто после наводнения. А вот постель нетронутая стоит. И подушка накрыта белой накидушкой, как фатой невеста.

Что тут скажешь? Пришлось виниться жене, что приводил ночью случайную квартирантку и позволил переночевать в дочериной комнате. На что было ему сказано всё, что говорится в таких случаях жёнами своим непутёвым мужьям. И что совсем он с ума сошёл, и что соседи его почти прямо в глаза Обезьяном зовут за пристрастие по дереву лазить, и что ей жизнь не в жизнь теперь, даже людям стыдно в глаза смотреть и от того она на улицу толком выйти не может.

Да ладно, чего там.

Почистили, по местам игрушки расставили, прибрались в комнатке, пол вымели от песка речного, помыли – пусть и дальше всё как прежде стоит, ждёт хозяйку. А плюшевого мишку, самую любимую игрушку, в одной из бочек нашли. Ах ты, господи, – намок и утонул.

Посадили на завалинку сушиться.

На другой день хватились – нету! Вот хоть собаку заводи, ничего во дворе оставить нельзя.

Пусть жена и ругается, а дело есть дело. Или, может, привычка пуще неволи? Короче, полез снова Яшка на дерево ветки обрубать.

Месяц народился тоненький-претоненький, видно плохо в небесах, почти на ощупь приходится работать. Решил Обезьян всё же обкарнать ту ветку, на которой учащаяся приютилась в чёртову ночь, теперь-то, слава богу, никого вроде нет. Прилез, нащупал место, в которое уже стучал топориком, и вдруг мягкое, маленькое, сыроватое, почти живое сунулось в ладонь. Плюшевый мишка!

На этом работа встала серьёзно. Спустился Яков вниз, и больше наверх ни ногой. Решил про себя: упадёт тополь так упадёт, раз ему суждено. Всему свой жизненный срок отмерен: и тополю, и дому, и человеку.

А народ квартальный по привычке меж собой соседа Обезьяном кличет: «Сегодня Обезьян что-то рано с работы идёт, наверное, машина опять сломалась», – тут уж ничего не поделаешь, за дело. А жену его Обезьянихой, непонятно за что, просто по заведённому порядку: муж и жена – одна сатана. Дочка совсем потерялась где-то на целинных просторах, ни слуху от неё нет, ни духу. В пустоте люди век свой доживали, сколько терпения хватило.

Помыкались-помыкались, собрались как-то, вещички что распродали, что так роздали, дом с молотка пустили, и уехали в неизвестном направлении дочку разыскивать, завивать горе верёвочкой. Без вести пропавшее семейство нынче.

Зимой в бурю сломился ствол тополя. Метра три всего осталось торчать, и утолщение в нижней части имеется гнилое, будто огромный морщинистый кулак зарытого в землю великана вылез наружу да пальцем грозит.

Другой раз соберутся соседи кружком обсудить житьё-бытьё на сон грядущий: стоят себе, беседуют, семечки щёлкают, кто взглянет иногда по привычке вверх, но нет, не сидит нынче мужик на тёмном небе возле светлого месяца, не тюкает топориком, зато иссохший великаний палец грозит и грозит из-под земли непонятно кому.

То ли пропащему Яшкиному семейству, ставшему перекасти-полем на жизненных дорогах, то ли кучерявым небесам с живущим на них заспанным, всепрощающим, розовопятым боженькой и летающими ещё выше весёлыми космонавтами, то ли всем нам вместе, и как-то беспокойно, тревожно делается у того человека на душе.

АХ, ЭТИ СЕРЫЕ ГЛАЗА

Старший экономист Алла Карсавина возвращалась домой после зимнего отпуска. Полмесяца она брала летом, ездила дикаркой в Сочи, сейчас провела неделю в небольшом кемпинге при горнолыжной трассе, где обычно в это время года собирается уйма народа.

На лыжах Алла стояла неплохо, в том числе и горных, но, увы, пошиковать не удалось – всю отпускную неделю держались сильные морозы. Подъемник не включали ни разу. Несколько новых знакомств, заведённых в гостиную у камина, трудно отнести к разряду особо удачных: сплошь довольные жизнью улыбчивые женатики, которые целый день могут просидеть на деревянной лавке за пивом, громко обсуждая тонкости альпинистского снаряжения.

В её почти тридцатилетнем возрасте семейное положение сильного пола начинаешь различать без расспросов, по походке, на расстоянии ста метров.

Бэушный товар нам не нужен. Изумительно красивая девушка с роскошными золотистыми волосами, широко распахнутыми в мир большими голубоватыми глазами, в уголках которых, к сожалению, поселились не очень заметные до времени гусиные лапки. По замечанию родной мамочки, слишком много прохотела весёлых лет. За спиной осталась сотня сказочных романов, и все как один кончились ничем.

Наверное, поэтому Алла не ударилась в кемпинге во все тяжкие, как в прежние бы времена, хотя один молодой женатик со шкиперской бородкой, в огромных высокогорных ботинках, изображавший из себя плейбоя, очень ей понравился, жутко захотелось потряхнуть стариной, но благоразумие взяло верх, она опомнилась и воздержалась, решила не портить репутацию, ждать ЕГО до самого конца.

ОН так и не появился. Мороза испугался, что ли?

И вот вам, пожалуйста, результат: сидит Алла одна-одинёшенька в своём купе, смотрит на пустынный перрон и бесславно ждёт отправления поезда. В каком-то смысле уже приехали. Здравствуйтесь, девочки!

Чёртов поезд должен был отправиться десять минут назад, но после слабеньких подёргиваний и потряхиваний замер на прежнем месте. Очень холодно сегодня, техника не выдерживает, что подъемник, что поезд, всё дохнет на корню. А у неё на душе ещё холоднее, просто абсолютный ноль: лёд, камни, безвоздушное пространство.

Была последняя надежда на вагонное знакомство, чтобы ОН и ОНА вдвоём в одном купе оказались, даже элитное нижнее бельё в дорогу напялила, и сама при полном параде, прямо из парикмахерской, с корабля на бал... И что? Городок напрочь вымерз, во всём их вагоне лишь три купе заняты. В соседнем устроился пузатый военный, явно имеющий на неё виды, но стопроцентный женатик. В другом две пожилые женщины. Вот и весь праздничный набор.

“Я как пуля на излёте, – подумала Алла, – лечу, лечу, а цели нет. Скоро о землю шлёпнусь, и все дела”.

Она уже решила переодеться в штаны и свитер, иначе с красиво декольтированной грудью ей вечером не отбить атак капитана, который уже сейчас вьётся паутом на голое

тело возле открытых дверей её купе и вот-вот, как только проводница соберёт билеты, влетит сюда, ничем потом не выкуришь.

И тут вдруг, как в новогодней сказке, на перроне появился ОН.

Алла прильнула к холодному стеклу: высокий, стройный, в длинном модном расстёгнутом пальто, с вьющимся до земли белым шарфом, неторопливо и чётко маршировал по снежному насту, пушинкой неся чёрный кожаный чемоданище. Будто зная наперёд, что без него поезд с места не сдвинется. Неужели действительно ждали его?

Алла – несомненно!

Но кто он? Провожающих нет, какая радость! Лицо молодое, с румянцем на щеках, из-под шапки видны только тёмные брови, прямой нос, шикарные усы и решительный подбородок. Точно, ОН! Как на картинке. Неужели? Неужели другое купе? Неужели опять не судьба? Господи, да сделай же что-нибудь! Хоть раз в жизни выдай замуж по-нормальному! Нет, чего сказку выпрашивать? Это, наверное, и для бога непосильная задача, ладно уж, в будущем пусть и разведёмся, пусть жить одной, от случая к случаю, да воспитывать ребёнка, как все обычные бабы. Но сейчас-то, господи, дай счастья!

День клонится к вечеру. Мороз под сорок. Ликование души неизвестно по каким причинам, и вот не застёгнуто пальто, лицо быстро твердеет и сохнет, случайное выражение схватывается гипсовой маской радости: ах, какая ерунда, когда... что? Шарф метётся у колен.

Он один на пустынной сцене перрона. Отправление поезда задерживается. Провожающие не выдержали мороза, нет ни единого человека. Оглушительный капустный хруст снега, нескончаемая цепь вагонов, да справа, за чугунной решёткой редееет чахлый, заброшенный парк, слегка побрызганный малиновым предсумеречным светом.

Повинуясь невесть откуда налетевшим сумасбродным предчувствиям, в мозгу гулом гудит праздник сердца-колокола. Вкручивая каблучки в визжащий наст перрона, идёт он к своему вагону, набрав полную грудь воздуха, без вдоха, без выдоха.

Витенька, как всегда, опоздал.

Поезд должен был уйти ещё десять минут назад, но либо вокзальные часы врут, либо попросту, на общее счастье, случилась задержка, и, разметнувшись далеко в обе стороны, хмуро-тёмнозелёная шеренга вагонов, грязная ещё октябрьской грязью, продолжает мертво стоять на месте, не подозревая, верно, о том, что, в сущности, только его одного и дожидается.

Голова и хвост состава потерялись из виду далеко в светлой морозной мгле.

За глухими, с зелена стёклами окон, будто через годами отстоенную прозрачность аквариума, поблазнился глубокий взгляд из-под приопущенных ресниц, мгновенно поразивший живое живым.

Витенька метнулся в сторону аквариумного зазеркалья, полного тёмно-жёлтой воды с подсветкой, где сонными карасями плавали все другие лица: разгадка его вроде необъяснимой жизни вдруг оказалась ужасно близка, – сейчас он поймёт себя по одному только этому лицу, благодаря полноте возникшего внезапно счастья... Но её уже нет, хотя свет случайного взгляда продолжает калиться на сетчатке глаз.

Очень походила на Аньку. Да откуда здесь взяться Аньке?

Витенька приехал в городишко на два дня, привёз в военную часть брату-новобранцу два чемодана вещей из дома, и теперь уезжал, довольный свершённой миссией, пустым – в огромном чемодане, который он легко несёт одним пальчиком, лежит только другой, не менее громоздкий, свёрнутый кожаный чемоданище. Здорово ездить налегке!

Так что же Анька?

Ничего особенного. Просто учатся в одной группе и вместе сидят на лекциях. Как-то на перемене затеяли обычную игру: кто кого пересмотрит не моргнув. Сидели-смотрели всю перемену, а потом ещё и лекцию прихватили. Загипнотизировались. С тех пор часто глядят в глаза друг друга в свободное от учёбы время, и несвободное тоже. У Аньки глаза серые, он их выучил наизусть в подробностях, спроси, всё расскажет, с точностью до количества ресничек. Его уже поднимали преподаватели, устраивали выволочку, что, де, за посмешище здесь устроил? На лекциях надо материал конспектировать, а не... дурью маяться. Не помогает.

Отвернулась? Или просто мираж оконной пыли?

Поражённый фантазией не свершившегося, деревянным шагом продолжает свой путь, и снова чей-то взгляд из следующего окна окатывает жаром, и всё повторяется, как ныряние в декабрьскую прорубь, полную ледяного крошева.

Эти новые глаза – огромные, удивительные, незнакомые.

Наверное, он всё же хорош, очень хорош в молодецки расстёгнутом длинном пальто с поднятым узким воротником из нерпы. У Витеньки весёлое, чуть порозовевшее на морозе лицо с прямым решительным носом, карие глаза, жёсткие, чёрные, не мальчишечьи усы. Грудь распирает счастье и желание вздохнуть.

Сорвал перчатку, приложился ладонью к чешуйчатой изморози, покрывавшей вагон; невероятное должно произойти немедленно, сейчас же, тут, на месте – слишком много внутри кипящей радости. Запрыгнул в вагон. Тепло как!

На всю длину коридора стелется узенькая вишнёво-красная ковровая дорожка с парадными зелёными кантами. Победно отмаршировав по мягкому ворсу до своего купе, не сдерживая улыбки, открыл дверь и легко вошёл.

Внутри купе оказалось не по-аквариумному светло и чисто, как бывает в начале пути в фирменных поездах: салфеточки, занавески, пол ещё не успел высохнуть после влажной уборки. За стеклом неузнаваемо ярко белеет привокзальный парк, отнюдь не заброшенный, но таинственный, романтично-заснеженный.

Сиденья мягкие, со светлой кожаной обивкой, кругом поблёскивает никель, он вдохнул, наконец, чувствуя лёгкий, почти неуловимый и приятный запах духов.

Вот оно и случилось!

Уже не вагон это – крошечная гостиная, со своей прекрасной хозяйкой, сидящей на правом от входа сидении, у окна. Чуть-чуть – больница из-за холодности казённого блеска металлических покрытий столика, сидений и стен, с дежурной сестрой милосердия.

Почти ослепшему от внешнего белого света, теперь на фоне окна и заснеженного парка ему виден только силуэт головы да лежащая на столике рядом с картонкой билета рука, освещена проглянувшим низким солнцем; на запястье свободно держался тоненький узорный браслет, пальцы длинные с розовым лаком на ногтях и нежной кожей.

Он поздоровался, ощущая, как близка ему мягкая подушечка мизинца, к которой хотелось прикоснуться губами, но тут же необходимость в этом отпала – Витенька вдруг начал быстро срастаться с этой прелестной ручкой, оказавшейся где-то глубоко внутри, возле сердца, где она производила безболезненные манипуляции по освобождению пространства, что-то удивительно приятно трогала, перемещала, сразу сливаясь кровью, срастаясь всё в большей степени с ним и уютно погружаясь в него вместе с мягко льющимися по плечам белокурыми волосами, не подходящим для пути театрально нарядным платьем с великолепно оголённой грудью, мягкой мочкой уха, в котором блеснула золотом паутинка серёжки – внутрь, вглубь, и для всего находилось своё единственное, родное место.

Она так смотрит на него! Витенька обернулся бы, коль не знал, что за спиной нет никого и в купе они вдвоём. Да, ему здорово повезло ехать с такой необыкновенно голубоглазой и белокурой красавицей. Не зря мерещилось!

Алла смотрела, как заворожённая. Она всё ещё не верила собственным глазам, даже не поздоровалась на его «здравствуйте», лишь кивнула и чуть рот не открыла от восхищения.

ОН! Всё, пришёл. Наконец-то! А если не ОН, то пора в монастырь.

Витенька поставил чемодан, снял шапку и скинул пальто.

Под пальто оказался школьный ещё костюм с короткими рукавами, тоненькие дудочки брюк, в таком наряде даже мужские усы не производили впечатления. ОН как-то сразу превратился в худого юношу с торчком стоявшими на спине острыми лопатками.

Боже, за что?

Мальчишка, лет восемнадцать, не больше. О, как она могла так промахнуться? То ли студентик, то ли вообще школьник. Да какая разница? После всего грандиозного, что с ней только что почти случилось – и не случилось, разбираться в этом недоросле нет ни малейшего желания. Сражена наповал, убита. Но в монастырь всё равно не уйдёт!

Поезд тихо тронулся с места.

Маневровые тепловозики, водонапорная башня, обшарпанные склады и километры заборов, потом серенькие пригородные домики, утонувшие в снегах, а если чуть повернуть взгляд, то золотистые живые завитки волос над оголённой шеей, светлое, мягкое лицо, с лёгким сиянием от падающих на страницу книги последних лучей солнца, губы маленькие, свежие, чуть подкрашенные, уголками уходящие в припухлости щёк. Глаза широко открыты, и совсем теперь не голубые, а вроде морской волны с малахитовым отливом, волосы непокорные надо лбом и золотая волна на плечах. Снова – тонкие частые осинки на краю заснеженных оврагов, синие дали, бесконечные столбы и провода, провода, провода. Чудесное голубое платье, на ногах маленькие изящные туфельки. А уж ножки... Он быстро отвёл глаза подальше в сторону.

– Сиротский поезд, – поймав недоуменный вопрос Витеньки, пояснила, – не было провожающих. Совсем не было.

– Холодно.

– Конечно. Но это дела не меняет. Поезд никому не нужных людей, вот угораздило так угораздило. Ведь с таким скоплением несчастливчиков может случиться что угодно, не правда ли?

Вошедшая проводница начала собирать билеты.

– Никто в мороз не поехал, так и провожать не пришли, – тихим голосом обратилась к спутнице в голубом, – в другое купе переходить будете?

– Да, но ближе к ночи. А то скучно совсем одной сидеть, – она улыбнулась Витеньке, как королева пажу.

За чаем выспросила, кто он, где учится, на каком курсе. Витенька всё рассказал как есть. От её снисходительного тона первоначальное восхищение в нём тоже сбавило градус.

– А вы артистка?

– Почему?

– Одеты так ... красиво, и вообще сами... выглядите.

– Нет, я экономист.

– А, понятно.

«Сколько ей может быть лет, если разговаривает с ним, как с маленьким? Но хороша, конечно, ничего не скажешь. Очень красивая девушка двадцати шести лет, а ему всего-то двадцать. Обнаглеть, что ли?»

Узнав, в каких частях служит брат и где работают родители, Алла потеряла к студенту-третьекурснику всяческий интерес. Отвернулась к окну и долго смотрела, как в полутьме быстро, у самого стекла пролетают столбы. Скучно.

Витенька тоже решил не наглеть. Слишком красивая взрослая тётенька, ну её.

Капитан вылез из своего купе, встал перед их раскрытой дверью, белозубо улыбаясь.

«Зубы хорошие, – вздохнула Алла, – хоть какой-то плюс. – Посмотрела на живот вояки, на погоны. – Лет под сорок, бесхарактерный тюля, подкаблучник, изображает из себя ветреника. Для храбрости уже принял. Ну и чёрт с ним, всё равно терять нечего, пригласит – пойду. Такого отбить можно в два счёта, но если уж уводить от жены, то можно было лучше найти. Всё не хотелось. Хотелось своего и по-честному. Да видно, придётся по этой дорожке катиться».

– Пойду посмотрю расписание, когда большие остановки нам предстоят, – сочла нужным оповестить Витеньку, встала и элегантно проскользнула мимо военного.

Не посторонившийся капитан жадно втянул запах духов, сверкнул глазами. Он уже понял, что Витенька человек посторонний, его стесняться нечего. Дамочка выскочила из купе. Началась игра в поддавки? Сейчас проверим. Резво двинул следом. Заговорил прямо в спину, как она хорошо выглядит, и начал перечислять, что именно в ней особенно сильно, до глубины мужской души поражает гусарское воображение. И всё, больше не отстал. Обрато привёл нежно поддерживая за талию, встали напротив его купе рядом у окна, и капитан говорил не переставая, сыпал шуточки, рассказывал анекдоты.

– Вы, наверное, ракетчик? – спросила девушка с деланным восхищением, – в тайге на командном пункте дежурите, руку на красной кнопке держите?

– Мы? В тайге? Обижаете, мадемуазель. Мы кремлёвские связисты. Видели парад на Красной площади? Вот там и обеспечиваем связь.

Витенька сидел у раскрытой двери, слушал, пока вдруг не услышал:

– А что на ногах стоять, давайте ко мне зайдём, сядем-посидим. Кофе есть с коньячком, лимончик, конфеты, поговорим по душам, вы одна, и я тоже один как перст еду, скоротаем вечерок в разговорах на общие темы.

И дверь за ними закрылась. Вот и всё. Как просто. Сначала легко и непринуждённо ему понравилась, а теперь так же просто ушла к толстому вояке. И что таких тюфяков в армии держат? Живот в китель не влазит. Плечи покатые, глазки бегают, щёки рыхлые, тьфу, смотреть противно. А она пошла. Вот дура. И чего в ней хорошего сам Витенька нашёл? Ну волосы – да, просто отпад, ну глаза – тоже лазурь небесная, ну личико, пальцы, уши, шея, талия, ножки. Да всё хорошо, ума нет. Иначе с чего бы попёрлась? Кофе с коньячком не видала?

Долго Витенька ругал соседку про себя, однако и он успокоился. Смирился. Всё равно собиралась перейти на ночь в другое купе, ушла к капитану. Какое ему, Виктору, до шибко красивой тётеньки дело? Ушла и ушла. Баба из купе – мужчине легче.

За окном тьма хоть глаз коли, он раскатал матрац на своей нижней полке, застелил постель, лёг. Полежал. Встал. Нет, лучше забраться на вторую полку, что тут внизу потом будет, его абсолютно не волнует. Перестелил на верхнюю полку, снял брюки, пиджак, оказался в трико и рубашке, влез, улёгся. Он лично спит, а прочие пусть как хотят.

Поезд с шумом и грохотанием летит и летит в бесконечном пространстве ночи. Блондинка в соседнем купе хохочет и хохочет, прямо заливается над анекдотами связиста. Фу, наконец-то перестала, а он уж боялся, что всю ночь напропалую будет веселиться. Вот теперь нормально, можно спать.

Задремал ненадолго, потом сразу проснулся, сел, соскочил на пол. Бросился натягивать ботинки. За стенкой негромко визжала женщина, будто сдерживая себя. Голос непохож на соседский, однако определённо из капитанского купе. Ещё какую подселили неуравновешенную? А где тогда Алла?

Витенька выскочил в коридор, рванул соседнюю дверь и, слегка качнув корпусом вправо – влево – вперёд – назад, мягко вошёл в купе, сделал, пританцовывая, ещё два шага, оказавшись прямо перед кремлёвским связистом.

Зажатая в тёмном углу грузным телом капитана, Алла сверкнула взглядом затравленного животного, а увидев рядом Витеньку, точно напугалась ещё больше, даже визжать перестала.

Правой рукой капитан крепко охватил её талию, а левой вытащил из выреза платья одну штучку, как базарная баба-торговка цыпушку из корзины, и весь трясся, обрадованно смеясь, разминая пальцами. Очень красивый узорный переливающийся лифчик валялся на столике перед ними, между бутылкой коньяка и тарелочкой с аккуратно нарезанными лимонными дольками. Выражение лица девушки быстро переменялось, появилась жалкая мольба: помоги, если сможешь. Она не была уверена и в Витеньке. Капитан тоже оглянулся. Удивлённо. Это кто здесь?

Открыт полностью со всеми своими болевыми точками, да ещё руки заняты. Можно вырубить сразу, можно заставить помучиться. Но первым делом Витенька коленом блокировал возможный удар ногой снизу, и далее молниеносно, расслабленными пальцами пробежал по глазам, носу, щекам и кадыку вояки. Тот дёрнулся назад, стукнувшись затылком о стену. О, пьяная реакция. Вообще никакой противник.

Что, однако, не помешало капитану мгновенно догадаться о неприятностях, его поджидающих в самые ближайшие секунды, – мигом оставил дамские прелести. Не до жиру, быть бы живу, вскинул ладонки вверх к плечам, и расплылся добродушной улыбкой: мы тут ничего, так просто сидим, по-дружески балакаем.

Витенька небрежным кивком головы отодвинул его в сторону, предложил руку даме. Проводил до своего купе, прихватив со стола лифчик. От неё тоже пахло коньяком и лимоном. Откуда-то немедленно возникла проводница, взялась за щёки, сказала грустно: «Ой-ёй-ёй!».

Алла опустила растрёпанную голову.

Войдя в своё купе, Витенька сразу запрыгнул на вторую полку, лицом к стенке.

– Может, перейдёте в свободное купе? – спросила проводница соболезнующе, – или к женщинам?

– Спасибо. Мне здесь с... молодым человеком надёжнее будет.

– Понятно. Ну, так даже лучше. Ох уж эти военные, с ними всегда проблемы, меры-то никакой не знают, напьются до чёртиков и начинают бузить. Молодой человек, вы берите второе одеяло, не беспокойтесь, я к вам селить никого больше не буду.

– Мне и так нормально, – ответил Витенька, не оборачиваясь.

Когда проводница вышла, соседка быстро закрыла дверь на защёлку. Минуты три что-то молча делала стоя, то ли раздевалась, то ли одевалась, потом подняла нижнее сиденье, рылась в своих вещах, потом опустила его и, шелестя бумагой, села.

«Книжку читать теперь будет всю ночь?» – раздражённо думал Витенька.

Он не любил спать при свете. Терпел, терпел, повернулся.

Прежняя красиво причёсанная блондинка сидела за столиком, и что-то задумчиво писала на листе.

На молчаливый вопрос Витеньки улыбнулась загадочно и сказала:

– Пишу письмо мужу.

«Оп-па-на!»

– А у вас что, есть муж?

– Не спрашивайте – не совру.

Пышные золотистые волосы чертовски красиво лежат на плечах. Витенька опять почувствовал лёгкое восхищение, вздохнул и отвернулся к стенке.

– Нет у вас мужа, – произнёс он, понимая, что такие вещи нельзя говорить женщинам, – не было, и никогда не будет.

– Это ещё посмотрим.

Ему показалось, что разбудила она его совсем глубокой ночью. В купе по-прежнему горел свет, Алла стояла одетая в свою блестящую чёрную шубку, смотрела ему в лицо, золотые волосы сногсшибательно блистали на пушистом воротнике.

– Вставайте, Виктор, проводите меня.

– Что? Уже приехали?

– Нет, сейчас будет станция, я хочу отправить письмо немедленно.

Жмурясь, Витенька глянул на часы:

– Да уже одиннадцать, никакая почта не работает.

– Глупый, есть же почтовые ящики.

– И что, так срочно надо отправлять?

– Совершенно срочно. Вставайте, Виктор, я же серьёзно говорю.

Он спрыгнул на нижнее сиденье, сунул ноги в ботинки, начал шнуровать.

– Мне неудобно вам напоминать, однако давайте наденем брюки, вы всё-таки с девушкой пойдёте. Я бы и без вас сходила, но боюсь. Одевайтесь, я отвернусь.

Витенька вынужден был снова натянуть костюм, из которого вырос, накинул пальто и открыл дверь. Поезд уже тормозил длинными крепкими рывками.

– Там холодно, вот ваша шапка и шарф. Давайте помогу, вы спросонки ничего не соображаете.

И начала примерять шапку, будто покупала в магазине, поворачивая его голову в разные стороны, Витеньке было немного стыдно, но приятно. Потом завязала длинный шарф. Он хотел застегнуть пальто, Алла не позволила.

– Так вы очень хороши, не будем застёгиваться, – и пошутила, – я умираю: такой мужчина!

Она и правда развеселилась, глаза блестели, как у сумасшедшей.

– И вы тоже наденьте шапку, – счёл необходимым напомнить Витенька, – мороз-то собачий.

– Ничего, обойдусь, – лихо встряхнула волосами, они взлетели в воздух и снова блестящей волной легли на воротник.

– Всё, идёмте!

Схватила под руку и потащила на выход.

Проводница открыла дверь, стояла, улыбалась. Явно благоволит Алле. Почему?

На узком перроне горели яркие фонари, а дальше за ним чистое белое поле сияло алмазами в ночи. Он спрыгнул со ступеньки в пушистый, только что выпавший снег. Через поле светились окна низеньких изб, утопавших по крыши в сугробах. Рядом с Витенькой на платформе оказалась девчонка в валенках, фуфайке, мохнатой шали. Лицо её в тени, но глаза сверкали восхищённым блеском, почти как у Аллы.

– Помоги мне, пожалуйста, милый, – соседка протянула руки, стоя на подножке.

Он легко подхватил её, чувствуя теплоту стройного тела под шубой, мягко опустил с собою рядом.

– Девочка, ты не скажешь нам, где здесь поблизости есть почтовый ящик? – спросила Алла особенным голосом, каким в детских сказках разговаривают феи.

В искрящемся ночном воздухе её лицо выглядело волшебным молодым, волосы неправдоподобно светились на тёмном меху.

Как замороженная, боясь расстаться с парочкой глазами, девчонка только на мгновение кивнула в сторону, на столб посреди поля.

На верхушке столба висел старомодный фонарь в виде тарелки, очень ярко освещая всё заснеженное поле. А внизу синий почтовый ящик. А вокруг сугробы, и ни тропинки к этому ящику.

Откуда она знала, что именно на этой остановке будет так? Запросто могло ведь не быть ни фонаря, ни поля, ни девчонки, а лишь какой-нибудь встречный товарняк с цистернами нефти.

И Витенька побрёл, держа письмо в руке, по пышному свежевывавшему снегу, лёгкому, как тополиный пух, испытывая странное счастье и звон в ушах. Так должно было быть, но когда-нибудь в будущем. Снег сыпался под штанины и сухо щекотал ноги. До ящика метров двадцать. Можно незаметно подсмотреть, узнать адрес, но не стал этого делать. Зачем? Конверт гулко стукнулся о дно совершенно пустого ящика. На нём стояло одно-единственное слово: ТЕБЕ. Витенька повернул обратно. Девчонка сияла, забыв о мокрых рукавичках и замёрзших ногах.

– Милый, ты такой добрый, я так тебя люблю, – Алла зажмурилась и потянулась к нему губами.

Витенька догадался, что весь этот спектакль она устраивает для девчонки, совершив над собой некоторое усилие, подыграл: взял руками холодное, свежее на морозе лицо, осторожно поцеловал губы. Затем помог подняться обратно в вагон, ощущая невероятно близкое тело под шубой, будто она там голая.

Поезд тихо двинулся с места. Девчонка ликующе взмахнула варежками, оставшись в счастливом мечтающем прошлом, на краешке серебристого поля, усеянного россыпями драгоценных камней.

Проводница гулко задраила металлическую дверь, как люк подводной лодки.

– Ночь на дворе, а ребёнок бегаёт поезда встречает, – недовольным голосом проворчала она, – тоже ведь добегаётся. И куда только родители смотрят?

Они вернулись в купе. За стенкой сладко храпел капитан, выпивший свой коньяк в одиночку.

Витенька быстро скинул пальто с шапкой и шарфом, не церемонясь, – брюки, пиджак, запрыгнул на свою полку, отвернулся к стене и попросил:

– Только свет выключите, ладно?

Свет погас немедленно. В голубоватой темноте без ночника она быстро разделась и юркнула под два одеяла.

Спать не хотелось. В зеркале на двери отражались фонари полустанков, которые поезд проскакивал, не замедляя хода. Снова представилось, как заходит в купе ОН, высокий, стройный, с чёрными усами. А может, опустить ему воротник? Опустила воротник – и снова: вот ОН, стройный, высокий, щёки румяные с мороза... Нет, слишком румяные, чувствуется мальчишка, а ну, вышел, вышел в коридор! Так, щёки посмуглее сделаем, пусть даже лёгкая мужественная щетина будет... Нет. Ещё бомжей мне здесь не хватало! Гладко выбрить, сбрызнуть туалетной водой, так, пошёл... вот заходит, легко опускает огромный чемодан, скидывает пальто... Стоп!!! Куда? Не то... Вернём на исходную позицию... А заступник уже уснул. Сопит, как маленький.

Ей жарко. Накушалась коньяка с капитаном, дура. Сняла одно одеяло, свернула, сделала заслон от окна, чтобы холодом не так несло. Вспомнила, как больно хватался пьяный связист, уже до того набравшийся сверх меры, сделалось ужасно обидно, слёзы навернулись, вот ведь скотина какая! Вообще убрала с себя одеяло, осталась лежать на простынке. Эй, ну где ОН там? Входите уже. Ой, нет ещё! Минуточку... Этот кружевной лифчик не нужен. Его грубо сдёрнул капитан – сразу и без разговоров, как дешёвый трофей. Сняла и засунула под подушку, закинула руки за голову: вот теперь пусть ОН входит!

У Витеньки замёрзла голова. От окна дуло. Он проснулся, решил перевернуться в сторону двери, а ноги замотать другим одеялом. Перевернулся и вдруг увидел Аллу!

В окне замелькали прожектора, их мощный свет, отразившись от зеркала в двери, высветил всю её почти обнажённую фигуру на нижней полке, голову на закинутых руках. Глаза были широко раскрыты и требовательно глядели прямо перед собой! Как только не холодно?

Мягко, неслышной белкой-летягой спланировал вниз.

ОН! Пришёл. Наконец-то!

Из купе они вышли по-семейному, под ручку. Виктор нёс один-единственный чемодан, в котором легко уместились вещи Аллы. Лицо проводницы выражало радостную надежду:

– Счастья вам, – пожелала она на прощание.

С вокзала заехали к Алле, в её однокомнатную квартирку, и жаркая купейная ночь продолжилась там, затянувшись на весь день и вечер. Вечером он вспомнил о родителях,

позвонил им, сказал, что задержался у друзей в общежитии и что скоро приедет. Алла слушала, как он это говорит, сидя в комнате на кровати. Поняв, что Виктор сейчас уйдёт, начала одеваться.

– Нет, погоди ещё немного, – сказал молодой человек, вернувшись от телефона, – я потом, позже, съезжу домой, и сегодня же вернусь к тебе.

И опять снял с неё голубое платье.

Позже вечером действительно поехал домой.

– Витенька, где ты был? На тебе лица нет! – воскликнула мама в прихожей.

Мама не знала, что нет не только лица. Всего прежнего Витеньки больше не было. И на это смешное обращение он лишь устало усмехнулся. Его тревожило странное чувство, будто отсутствовал здесь лет двадцать, и вот совершенно случайно заехал, а тут всё по-прежнему, и мама всё так же сейчас начнёт уговаривать попробовать варёного мяса, салат и паровые котлеты, которые раньше он не переносил, но которые были, конечно же, полезнее жареных, и заранее бояться, что не станет есть суп, а потому закричит с кухни: «Я уже налила!».

Дивясь самому себе, начал рассказывать о поездке, а родители смотрели на странного Витеньку, ничего не понимая.

Мама бросилась накрывать стол, его усадили, принялись кормить, по привычке уговаривая попробовать то и это.

Виктор молча смёл первое-второе-третье, потом всё, что было на столе, заглянул в холодильник, не закрывая дверку и не чувствуя вкуса, быстро расправился с варёной свеклой и морковью, приготовленными для завтрашнего винегрета. Пустую тарелку задумчиво вернул обратно на полку, вытащил остатки колбасы, сыра, сметаны, сел за стол и всё съел с хлебом. Испуганные родители принялись в четыре руки мазать бутерброды с маслом, он лопал, словно не замечая, запивал сладким чаем, и при этом смотрел страшно голодными глазами.

Когда масло в маслёнке кончилось, сразу сказал правду:

– Я женился сегодня.

Папа вздёрнул брови, а мама так и села на ближний стул.

– На ком? – поинтересовался папа с каким-то нервным смешком.

– На девушке, конечно, – кратко пояснил сынок.

– На Ане? – пришла в себя мама.

– На Алле. И перехожу жить к ней, на днях мы подадим заявление в загс.

– А откуда... А когда ты с ней познакомился?

– Вчера вечером, в поезде. Ну, ладно, мне пора. А то троллейбусы не пойдут, придётся пешком.

– Так ты уйдёшь???

– Конечно, мам, собери по-быстрому вещи в чемодан: носки, трусы, рубашки, ну, всё необходимое.

Мама кинулась собирать вещи.

Наконец-то в пришедшем незнакомце она узнала сына. Собираться Витенька по-прежнему не умел.

– Я завтра же позвоню, – сказал он, выходя из квартиры и здорово согнувшись под тяжестью чемодана.

– Сегодня! – грозно потребовал папа. – Как приедешь, чтобы сразу позвонил, а то ведь я сам позвоню! И поговорю серьёзно!

Телефон они всё же с него требовали, но больше ничего.

Следующими, кому довелось ощутить изменения, произошедшие в Витеньке, оказались партнеры на занятиях в спортивной секции. Здесь он имел легкомысленную кличку «Танцор», ибо бойцом был техничным, это признавали все, но при работе на полном контакте летал битой грушей, многократно оттачивая технику падений. А тут буквально за какие-нибудь полгода всем вдруг стало с ним трудно. Прозвище

видоизменилось, Витенька сделался «Танцующим носорогом». Пришлось тренеру взять его в спарринг-партнёры, и уже у него для напарника от двух слов осталось только одно, просто «Носорог», под этим именем Виктор и вошёл в анналы местного каратэ.

А в учёбе всё осталось по-прежнему, лишь перестал играть в гляделки с Анькой, но как учился на тройки с четвёрками, так и продолжил это несложное дело.

Через два месяца состоялась свадьба.

Витенька настолько внешне переменялся, что родители с трудом признавали своего мальчика в весьма крепком серьёзном парне, когда тот забежал в гости «чего-нибудь перекусить». Витенька страшно много ел («ОНА его не кормит!» – возмущалась мама), кажется, ещё вырос и уж точно раздался в плечах. Откуда ни возьмись появился мощный торс и грубоватый мужской голос, лицо стало твёрже, смуглее, исчезли ямочки и румянец. Совсем взрослый мужчина.

Даже Алле слегка не по себе сознавать, как за столь короткий срок ОН выполнил практически все её фантазии того милого вечера, когда лежала на нижней полке вагонного купе полуголая и гоняла его туда-сюда, перекраивая на ходу под себя. Теперь никто не мог сказать, что она старше Виктора почти на десять лет. Он выглядел на двадцать шесть, она на двадцать пять. (Уже пятый год подряд.) И всё чудесно!

Свадьба состоялась в лучшем ресторане города. Невеста затмила окружающий мир невероятной, сказочной красотой. Родители уже знали её настоящий возраст и боялись худшего – явного позора, а она оказалась голубоглазой златовласой принцессой, куда там всем мисс мира вместе взятым, и папа первым мгновенно уяснил суть дела: хлопнул Виктора по плечу и подмигнул: молодец, знай наших! Мама как бы тоже слегка вышла из комы, но предпочла сохранять на протяжении свадьбы скорбный вид, впрочем, скорее по привычке. Да и как, скажите, с такими-то кругами под глазами, после затяжного непрерывного двухмесячного плача, сразу удариться в веселье?

Невеста понравилась обоим.

Но что за свадьба без драки? Да ещё такая многочисленная и разношёрстная: с двухсторонней немалой роднёй, студентами, спортсменами и коллегами. Была приглашена вся студенческая группа Виктора, все и пришли, кроме Аньки.

Когда толпа вовсю танцевала, а простой народ уже перестал отличать жениха от шафера, к Виктору подошёл хромоватый официант с простодушным рязанским лицом. Вежливо склонился к уху, переорал музыку: «Вас ждут в дамском туалете!».

Этот официант исполнял какие-то вспомогательные функции помощника тамады или что-то в этом роде, и буквально только что принимал самое активное участие в воровстве невесты, которую Виктору всё же удалось вернуть – с большим уроном для чужих боков, всего за сто рублей и бутылку шампанского. И теперь он взглянул на простецкое лицо официанта с подозрением.

– Кто ждёт?

Хромоногий чёрт приложил ладонь к его уху так, чтобы звук не ушёл в сторону Аллы, и сообщил подробности:

– Вас ожидает дама, не беспокойтесь, я провожу!

– Если опять провокация, вторую ногу сломаю, – щедро пообещал Виктор, но всё же встал, сказал Алле: «Отойду буквально на секунду, не исчезай, ладно?».

После чего отправился за хромым в дамский туалет.

Показывая, что работает на высшем организационном уровне, хромой официант повесил на двери табличку: «Закрыто по техническим причинам», и выпрямился рядом на часах.

Виктор вошёл, увидел Аньку, стоявшую возле раковины и глядевшую на себя в зеркало, обрадовался ей:

– О, пришла, молодец! А я подумал – неровён час, обиделась на что-нибудь, пойдём, там места есть.

Но Анька только смотрела исподлобья и молчала.

Сегодня Витенька почему-то не выдержал её взгляда. Опустил глаза на белый кафельный пол.

– Предал, да? – взялась она за гладкие лацканы новенького свадебного пиджака, безбоязненно комкая их в кулачки.

– Кого? – удивился он, осторожно перехватив её руки.

– Любовь нашу! – воскликнула Анька, вырвала свой правый локоть, и с треском влепила пощёчину.

Тут в туалет прорвались сразу несколько страждущих женщин, хромоногий переоценил свои возможности по сдерживанию дамского напора, Анька зарыдала, а он вышел вон, горя неравномерным румянцем.

Прямо перед ним стояла невеста в белом, с удивлением разглядывая жениха, разгневанно покидавшего женский туалет.

Хромоногий официант поспешно ретировался к гардеробу.

– Своей смертью ты не умрёшь! – предрёк ему вослед Виктор, и пояснил Алле: – да так, очередной розыгрыш устроили, пойдём за стол к гостям.

За столом опять кричали «Горько!».

Через семь месяцев после свадьбы родилась ОНА. Алла долгое время не доверяла своему счастью, относилась ко всему с лёгкой усмешкой, боялась сурочить, не желая привыкнуть к хорошему, снова потерять и страдать, но после того, как это свершилось, отступить было некуда. У неё был ОН и ОНА, а сама она – красивейшая женщина на земле, любимая мужем, всеми родственниками, и от того очень счастливая.

Даже свекровка и та потеряла голову от счастья, готова была выполнить любое её желание, лишь бы дали поводить с внучкой. Внучка была нарасхват.

Виктор окончил институт ни шатко ни валко, два последних года подрабатывая на стройке.

Зато дела на работе, куда он пришёл с новеньким дипломом, пошли очень хорошо, и в двадцать пять лет стал главным инженером строительно-монтажного управления, имея в активе не только медвежий бас вкупе с внушительной внешностью, но и способность управлять сотней людей так, чтобы абсолютное большинство их считали его не «парнем, что надо», а «мужиком, каких мало».

Таким его создала Алла. Понимая это, он был ей благодарен, что избежал обычного периода разброда и шатаний, колебаний, поисков себя, неуверенности в своих силах. У него есть семья, две девушки, с которыми ему замечательно живётся, и для них он сделает всё необходимое, и даже в десять раз больше требуемого! Пусть никто не сомневается! А никто в нём и не сомневался.

Семейное счастье длилось долго, очень долго – пока ей не исполнилось тридцать семь, а Виктору двадцать семь. Он к этому времени стал уже настоящим руководителем и входил в узкий круг серьёзных мужчин города вполне самостоятельной фигурой.

Начиная с их свадьбы и по сей день муж всегда выглядел немного старше её, чуть-чуть, буквально самую малость, это было очень удобно, и никаких вопросов у знакомых даже не возникало, как однажды грянул гром среди ясного неба: она вдруг ощутила, что заметно постарела по сравнению с ним.

Внезапно, как бы ни с чего. Это она-то, так следящая за собой? Алла ничего не могла понять. Неужели – всё? Но почему? Да нет, не может быть, самые-самые годы пришли! Она умножила свои старания по омоложению лица, сначала терапевтическими мерами, без счёту бросая деньги на кремы, маски, массажи, потом настала пора микрохирургии: убрала морщинки у глаз, на шее, сделала подтяжку.

Всё возможное и невозможное свершила, что от неё зависело, с единственной целью: остаться милой, любимой и единственной, пока не поняла, что дело, оказывается, вовсе и не в ней.

Это не она старела, это он вдруг начал катастрофически молодеть!

Первый раз Алла заметила невероятное совершенно случайно, потому что произошло оно прямо у неё на глазах. Вечером Виктор говорил с кем-то по телефону, и вдруг расхохотался непривычно звонким мальчишеским голосом. Алла бросила удивлённый взгляд – и заметила, что не только голос изменился у мужа, но и ямочки на щеках вынырнули, и глаза блестят не привычной деловой сталью, а задорной весенней лужицей.

Виктор поймал изучающий супружеский взгляд, бурно залился краской. Покраснел, как девушка на выданье от неловкого слова. Это он-то? Который даже в гневе всегда умел сохранить лицо?

Она всё поняла и не стала ничего выяснять. Зачем? Бесполезно. Каким всеобъемлющим было счастье, настолько точно предreshён его близкий конец.

Зря надеялась, что бог по доброте душевной перевыполнил давнюю её отчаянную мольбу, снизошёл к неуверенной дурочке, а оказалось, что всевышний тоже действует строго в рамках договора, давая не меньше, но и не больше прощенного, а значит, ей наперёд теперь известно: он уйдёт.

Да, это был уже не ОН, а просто муж, он. Алла перестала летать на крыльях и начала ждать развязки.

Но ещё три года Виктор медленно и верно молодец, а она жила осторожно, боясь неловким движением разрушить воздушный замок, оставшийся без фундамента, пока в один ужасный день брак сам собою не рухнул. Ей было уже сорок, ему тридцать, они прожили вместе десять лет. Он ушёл к своей бывшей однокурснице, сказав, что первая любовь не стареет. Какая такая любовь? Где она была столько-то лет? Муж промолчал. Так молча и ушёл.

После этого мать с отцом отказались разговаривать с ним даже по телефону, трубка передавалась брату или падала на рычаг, но что его по-настоящему угнетало – это появившееся во взгляде дочери выражение, сродни тому, какое было у Аллы, притиснутой в углу капитаном. Перед ней единственной он чувствовал себя навсегда виноватым, однако изменить ничего уже было нельзя.

А на самом деле всё произошло случайно. Виктор заметил Аньку в длинной очереди к соседней кассе в универсаме, точнее, сначала почувствовал на щеке обжигающий серый взгляд, повернулся и увидел её.

Смотрел, смотрел – нет, не поворачивается. Так и не пожелала. Глупая девушка, однокашники же, такое знакомство глупо не поддерживать, когда-нибудь и он бы ей обязательно пригодился. Для своих ребят Виктор ничего не пожалеет, всем поможет.

Вот, кстати, её бывшему мужу, их же однокласснику, уже помогал. И здороваются они всегда за руку, и даже пару раз гуляли в общих компаниях, какие могут быть претензии между своими людьми? А эта нос воротит. Ну и чёрт с тобой!

Расплатился в кассе, быстро выскочил на улицу, сел в машину, и тут на крыльце образовалась Анька с двумя сумками в руках. Ищущим взором обшарила толпу прохожих, ничего не нашла, и потащилась на автобусную остановку. Да, хорошая мысль приходит опосля. Желаем приятного пути!

Поздоровалась бы – подвёз бы обязательно. А так – нет, не станет даже окликать, не в его правилах. Аккуратно развернулся и уехал.

Но независимо от того, что думал, предпринял действия совершенно в ином направлении: вдруг со всем своим организаторским талантом взялся за проведение вечера встречи на пятилетие окончания института. Создал оргкомиссию, бесплатно предоставил помещение ведомственного кафе, влупил кучу собственных денег, чтобы сделать взносы участников чисто символическими. Анька жила со своими родителями-пенсионерами, работала на мелкой технической должности.

Оргкомиссия пригласила на вечер встречи всех без исключения, разослав именные открытки, кроме того, сделали объявление в газете, по радио и на телевидении. Все были поставлены в известность, почти все пришли, в том числе и Анька. Стол получился отменным, культурно-развлекательная программа – как на студенческом капустнике.

Виктор решил за вечер выпить один бокал красного вина, но потихоньку, чокаясь со всеми. Когда очередь дошла до Аньки, бокал оказался пуст.

– Как всегда, – сказала Анька, – на меня тебя никогда не хватает.

Виктор посмотрел ей в глаза и усмехнулся – её бывший муж тоже был на встрече, с ним Виктор уже чокнулся.

– Да, не получается у нас с тобой выпить как следует, давай хоть поговорим, что ли!

Они присели в сторонке, народ уже всю танцевал, Виктор посмотрел ей в глаза и затаил. Количество ресничек стало меньше, а может, это из-за того, что она гуще их теперь мажет?

Оставшийся вечер так и просидели молча на отшибе от веселья, на приём к нему пытались пробиться раздухарившиеся однокашники, но два члена оргкомиссии пресекали эти попытки в корне, ненавязчиво охраняя уединённость. Что касается бывшего мужа, тот уехал раньше всех, что-то заторопился, видно, дела.

А они ушли последними. Как организатор он решал необходимые вопросы по уборке помещения приглашёнными сотрудниками, и отвез её домой на служебной машине. На прощание они ещё минут пятнадцать постояли – смотрели друг на друга возле её дверей. Молча. Потом шофёр тоже молча отвёз его, встревоженного и смущённого, домой.

Жене Виктор ничего не сказал. Что говорить? Слов не было, один долгий взгляд продолжительностью в целый вечер. Только вот как-то не по себе. С чего бы это? Он чувствовал глупую неуверенность, какую сто лет уже не ощущал. Два дня пребывал в задумчивости, на третий позвонил Аньке и предложил встретиться. Она отказалась.

Виктор не настаивал. Всё правильно, так и надо. Но к пяти часам поехал встречать её с работы, опять посидели молча в кафе, потом гуляли, как школьники, в запущенном старом парке на окраине города мимо разломанных скамеек. Оба имели вид несколько потерянный и были явно недовольны тем, что с ними происходит. Небось не маленькие, предчувствовали, каким боком всё потом выйдет. Но поздно, поздно размышлять бездумным головам, когда две руки давно нашли, стиснули друг друга, обнялись крепко, неразлучно.

На следующий день и головы так закружились, что пришлось срочно снимать квартиру. На три года стали тайными, даже сверхтайными любовниками. Меняли явки, конспиративные квартиры, иногда дело доходило просто до смешного: встречались среди бела дня на улице на пять минут – просто посмотреть друг на друга и разойтись.

Наступила ужасная жизнь. Поразительно радостная и дико плохая, нестерпимая для всех троих.

В конце концов он всё-таки ушёл к Аньке. Точнее говоря, они сняли очередную квартиру и стали жить вместе. Впрочем, квартирный вопрос его совершенно не занимал. Ему предложили возглавить очень крупную стройку, и он согласился. Что им с Анькой квартира? Тьфу. Будет. И ещё не одна.

Новая секретарша начальника управления Верочка прибежала с утра в канцелярию забрать почту.

– Наш начальник такой весёлый мужчина, – сказала она Матильде Афанасьевне, – представляете, вчера сделала опечатку в одном документе, так он минут десять над ней хохотал не переставая, а потом подарил мне орфографический словарь, и даже подписал его: «Секретарше – от шефа. Больше, Верочка, меня так не смешите!». Вы слышали, он женится на молодой? Как романтично...

Матильда Афанасьевна, почётная пенсионерка организации с седой лошадиной чёлкой и седыми усами под вдумчивым носом пережила на своём месте четырёх начальников управления, и даже не улыбнулась с утра жизнерадостной секретарше.

– А ты знаешь, сколько было твоему шефу, когда он женился на прежней жене? – спросила она сощурившись.

– Нет, а сколько?

– Двадцать. Женился студентом на тридцатилетней женщине.

– Боже мой! Неужели правда?

– А знаешь, сколько ему сейчас лет?

Верочка потупилась. Она знала, но не хотела выдавать производственную тайну.

Матильде Афанасьевне шестьдесят два, ей на тайны плевать.

– Ему сейчас тридцать, и он снова женится на тридцатилетней!

– Как интересно...

– А знаешь, на ком он женится, когда ему будет под сорок?

– Ну что вы такое, Матильда Афанасьевна, говорите?

– Если не будешь делать орфографических ошибок, увидишь, голубушка, сама – снова на тридцатилетней, у него явный бзик на тридцатилеток. Кстати, тебе, Верочка, сейчас сколько?

– Ну, двадцать.

– Тогда открываются блестящие перспективы. Учи орфографию – и вперёд, дерзай!

Ох и язва эта Матильда Афанасьевна!

ГИПОТЕЗА БИБЕРБАХА

На нём старое зимнее пальто без воротника.

Из рукавов выглядывали аккуратно обгрызенные временем и кострами сельхозоборочных кампаний лоскутки чёрной саржи, драп вокруг пуговиц, на локтях и карманах истёрся до основы.

Внешний вид весьма убог даже для этой студенческой столовки, пахнувшей гнилой рыбой и лапшой, где народ ест в толкучке, не снимая шуб и шапок, а мухи и в феврале на диво жизнерадостны.

Длинная шея Саломатина низко прогнулась над тарелкой общепитовских щей из кислой капусты, кожа туго обтягивает лоб и треугольники плоских скул.

Мы сидим за маленьким грязным столом, заставленным использованными стаканами с остатками кефира, молока и чая; он по-голодному цепко придерживает тарелку левой рукой и хлебает горячее варево с неистовым наслаждением, я иронически его разглядываю.

Слежу за ним с самого утра, не отставая ни на шаг. Ничего интересного пока не происходит, но мне уже понятно то, о чём сам Саломатин пока и не догадывается. Сегодня, крайний срок – вечером, он должен, просто обязан уйти из жизни. Это единственный для всех нас достойный выход при сложившемся положении вещей.

Саша благоговейно подбирает ложкой длинные расползшиеся волокна капусты, скрупулёзно вычерпывая все имеющиеся калории, и в то же время толком не видит, что ест.

Уверенность, что это должно произойти именно сегодня, посетила меня только что, когда он взял тарелку щей, истратив последние копейки, на которые собирался купить сладкую булочку для своего старшего, трёхлетнего сына Проньки.

Я видел его колебания: сначала он встал в хвост очереди, потом вдруг выскочил из неё, растерянно оглянулся: могу поклясться, что и сам не понимал, как здесь очутился. Скорее всего, пришёл инстинктивно: мозг в это время был плотно занят гипотезой Бибербаха, а вечно голодный желудок, выбрав подходящий момент, отвёл Саломатина в столовую. Но, встав в очередь, Саша вспомнил о булочке, и решил не есть, а всё же купить сдобную сладость ребёнку и вернуться домой не с пустыми руками. Он покинул очередь, совсем уже было спустился по лестнице к выходу, но тут в голове мелькнула новая интересная мысль по поводу гипотезы, которую принялся на ходу обдумывать, и, конечно, позабыл обо всём на свете, а желудок завернул его обратно в очередь.

Сейчас аспирант по-прежнему размышляет о гипотезе, не зная, что сидит за столом и ест. Если спросить у него через полчаса, понравился ли ему обед, Саломатин не поймёт, о чём речь.

Неужели действительно хочу его смерти? Неприятно говорить, но это так. А ведь когда-то мы были как одно целое. Нет, всё, сегодня он должен умереть, зато Настя, Пронька и все прочие станут жить много лучше, чем прежде, я постараюсь, чтобы это было так.

Поедая щи с лохмотьями свернувшейся кислой сметаны, плавающими на поверхности, он думает о том же самом, о чём думал все последние месяцы в любое время дня и ночи: в читальном зале библиотеки, на улице, дома... о гипотезе Бибербаха, вернее,

о путях её доказательства. Не замечая, что ест, где находится. А когда проглотил очень быстро последний кусочек хлеба, тут же несколько ошарашенно посмотрел вокруг себя, затем вскочил и чуть не бегом ринулся к раздаче, где толпилась многослойная очередь. Перекинул руку через стоящих людей, схватил с общего подноса пару кусков хлеба, и, не рассчитавшись за них, вернулся дохлёбывать щи.

Попросту говоря, украл.

Я настойчиво разглядывал склонённый над тарелкой упрямый лоб с большими залысинами, однако Саломатин делал вид, что не замечает меня.

Съев всё до крошки и лишь слегка пригасив голодный блеск глаз, он с сожалением посмотрел на надкушенную кем-то и брошенную на столе горбушку хлеба, но – честь нам и хвала! – удержался, сдал тарелку и снова направился на своё рабочее место в библиотеку.

Даже в морозы сей оптимист обходится без шапки: пегие волосы ёжиком, благочестиво стоптанные башмаки, чёрная хламида делают его похожим на нищего провинциального пастора. В лучшие дни восторженный миссионер, ныне полный банкрот.

Я следую за Сашей по пятам из-за странного любопытства ко всему, что предпримет он в этот последний свой день. Не может же человек до конца остаться заинтересованным лишь в одном абстрактном математическом вопросе? Пусть даже самом великом в теории аналитических функций.

Но и вернувшись в читальный зал, Саломатин не изменил себе ни на йоту, опять принялся за гипотезу. Мне сделалось скучно наблюдать широченные плечи в сером растянутом свитере, связанном Настей. Эх, уж когда я окажусь на его месте, то не буду здесь неделями штаны просиживать!

На пять часов мы с Сашей договорились о встрече, чтобы на свежем воздухе обсудить его новые мысли. Наши роли распределены заранее: он предлагает, я критикую. И почти всегда оказываюсь прав.

Ровно в назначенное время спустились во внутренний библиотечный двор, и, глубоко вдыхая морозный воздух, отправились неторопливым шагом вдоль решётки ограды, затем свернули на расчищенную дорожку, которая уводит в глубь чернеющих зарослей черёмухи, к кедровой аллее. Обычно мы дискутировали именно здесь, незаметно вытаптывая небольшую полянку на свежевывавшем снегу.

На этот раз оппонент показался мне миражом, чья иллюзорность вот-вот будет доказана. Нехорошее предчувствие надо гнать, а я зачем-то представил, что будет, когда Саломатин и его драгоценная гипотеза Бибераха оставят нас. Это трудно вообразить, всё-таки мы знаем друг друга слишком давно, и пусть прошли годы, которые сделали нас очень разными, даже противоположными, – как жаль, как жаль его! Моя впечатлительность излишне разыгралась; боясь, что в следующее мгновение он уже исчезнет навсегда, рассыплется снегом с ветки, сказал: “Эх, Саша, Саша!”.

– Чего, друже, стонешь? Давай лучше поговорим конкретно.

Вот он идёт рядом, конкретный человек в своём смешном балахоне, и рассказывает, что Тейхмюллер был прав полвека тому назад, и тут же, на снегу, жаждет показать новое определение для однолистной голоморфной функции, которое назрело у него в голове сегодня, а я гляжу на серые впалые щёки, ранние залысины, что светятся прозрачно-голубыми венками, и понимаю, что всё напрасно. Пора кончать. Сколько можно?

Из пальто торчит красная замёрзшая шея, в руках старый портфель. В правом кармане дырка, в левом закомпостированный трамвайный талон, а на лице добродушнейшая улыбища, скрывающая великую гордыню: “Я, Александр Саломатин, всё могу!”.

Из-за неё наш чудак забыл о нормальной диссертационной теме, и с утра до вечера может говорить, думать, мечтать только о ней, единственной и неповторимой Гипотезе!

“Я – математик”. Как будто другие не математики. И если не берутся решать в своих диссертационных работах какую-нибудь гипотезу Пуанкаре, то зря едят народный хлеб! Уж по крайней мере не воруют куски в столовой.

– Ты понимаешь, как оказалась связана гипотеза с теорией чисел? А ведь по функции Кебе это давно было видно, и вот сегодня у меня наконец-то выплыла новая дефиниция, вроде что-то стало наклёвываться...

У него каждый день что-то начинает проясняться. С утра. К вечеру сгущаются потёмки. “Эх, Саша, Саша, всё, последний раз”. И деньги булочкины растратил. Одно к одному. А может, взовём к родительской совести?

– Саша, ты ничего не забыл сделать?

– Да вроде бы всесторонне рассмотрел... Погоди, погоди. А ну, взгляни туда как будто невзначай: видишь гражданку в длинном пальто, сапогах с пряжками, каракулевым чёрном берете, очках на лице близорукой прачки? Представь, эта мадам ходит за мной повсеместно; случайно не помнишь, кто такая? Не из университетской газеты?

Я поглядел в том направлении, куда ретиво косил Саломатин.

Там никого не было. Несчастный аспирант неотрывно созерцал голые кусты и приветливо улыбался. В его глазах плавали два золотистых солнечных бельма.

– Саша, идём домой.

– Погоди, друже, погоди. Хочу сказать главное: недавно она мне приснилась ночью во сне, и говорила что-то на ломаном немецком, я тогда как раз переводил книгу Тейхмюллера, – может быть, поэтому. Она сказала: “Ах, герр Саломатин, герр Саломатин, вы такой глупый киндер, что выбросьте свою голову куда подальше”, ну и прочий бред. Всего не помню, а эта фраза почему-то засела в мозгу. Бред, конечно. Но мы с ней долго разговаривали, я что-то не соглашался, а она всё уговаривала, и, знаешь, – Саломатин придвинулся, – не смейся, но мне кажется иногда, что эта женщина... не совсем женщина, а она и есть гипотеза Бибербаха.

Тут он осторожно глянул в мою сторону. Я хранил полную непроницаемость. Если на пустом месте видят женщину в сапогах, не простых, а с пряжками, то почему бы этой хорошо и по сезону обутой даме не оказаться гипотезой Бибербаха?

Ещё минут двадцать мы спорим на холоде о новоявленной дефиниции, потом идём на остановку, садимся в троллейбус, едем.

По дороге я делаю последнюю попытку спасти его:

– Саша, так дальше жить нельзя. Сам ты, конечно, можешь ходить в чём попало, жрать что придётся – ладно, это твоё дело, но ведь Настя не в состоянии выйти на улицу. Ей просто не в чем. Она заперта с детьми на восьмом этаже, они все замурованы тобой. Заживо. Но ты даже не думаешь об этом. Ваш месячный доход на четверых составляет сто восемьдесят рублей, из них за квартиру платите шестьдесят, что остаётся? Одному можно ноги протянуть. Трёхлетний ребенок не знает лакомства выше сладкой девятикопеечной булочки, да и ту малость ты ему не часто покупаешь. Сегодня опять забыл?

– Детей нельзя баловать. Пусть лучше он ценит малое, чем не ценит многого.

– Короче, Саша, даю тебе последний шанс: есть место дворника в детском саду. Ну, три часа в день от силы помашешь лопатой с утра – вместо физзарядки.

Саломатин закашлялся, прижимаясь к обледенелому окну троллейбуса:

– Я математик! Я должен зарабатывать мозгами! Я не лентяй, пробовал подрабатывать, а потом сидел без толку весь день в библиотеке, не работал – отдыхал, и ничего не мог с собой поделать. Голова пустая делается от подработки, понимаешь ты? Пустая. Не веришь, что смогу доказать Гипотезу? И чёрт с вами со всеми, как хотите, так и думайте, но я уже близок к решению, чувствую его, как свежий воздух в подземелье.

В подъезде пахло животными и цементной пылью. Лифт не работал. Мы долго поднимались по бетонным пролётам, шустрые полудикие коты с крысиными мордами сновали возле мусорок на площадках.

– Тебе не кажется, что они походят на функции Кебе? – спросил Саломатин дружелюбно, указывая на стаю котов. – Такие мягкие отточенные движения, и шкурка короткая, ровная; в темноте сыплет электрическими искрами, когда возвращаюсь домой поздно вечером, в темноте одни голубые молнии. Да, такими и должны быть граничные функции, а зубы-то остры... так и распластают единичный круг в одно мгновение – глазом не успеешь моргнуть.

– Надеюсь, что и вашим местным крысам тоже не поздоровится.

Саломатин нажал кнопку звонка. Дверь открыл Пронька. Ручки и ножки – словно тоненькие и длинные веточки. Стоит на проходе и смотрит очень серьезно.

– Папа, булочку принёс?

– Что? Ах, булочку, чёрт возьми, забыл, братец. Ну, ничего, завтра обязательно. Сразу три булочки за пропущенные дни. Представляешь, три сразу?

Пронька доверчиво улыбнулся.

– Главное – правильное воспитание, – говорит Саломатин, отмечая невысказанный упрёк и снимая пальто. – Не приучай детей к излишествам, и тогда они вырастут нормальными людьми. Ничего больше не надо, остальное баловство.

– Что ты называешь излишеством, уж не булочку ли?

– Не придирайся. Посмотри лучше, какой мужик растёт самостоятельный. В три года сам ходит на улицу гулять. Мать с ним, ясное дело, вверх-вниз бегать не может с наименьшим-то на руках, так он самостоятельно одевается и идёт. Поиграет внизу, обратно залезет. Так весь день вверх-вниз, вниз-вверх. Смотри, снова одевается: штаны, шубу и – вперёд! Настя, чем кормимся сегодня?

– Сейчас капуста дотушится.

Настя приветливо улыбается, но глядит как-то в сторону оттого, что в доме нет ничего, кроме тушёной капусты. Даже чай кончился. По сути, это нищета. Обживать только построенную чужую квартиру, где первый год дует изо всех щелей, текут батареи, не ходит лифт, платить за это немалые деньги и воровать в столовке хлеб. Капуста, крупа. Крупа и капуста. Что ещё можно купить на оставшиеся деньги, чтобы прокормиться? И в это самое время, забросив нормальную тему, он увлёкся гипотезой Бибербаха.

– Друже, а мне всё же удалось определить голоморфность в новых терминах...

Я не отвечаю Саломатину, поворачиваюсь к окну. Сумасшедший! Просто сумасшедший.

Далеко внизу валяется на снегу маленьким жучком Пронька. Прямо на проезжей дороге, отделяющей девятиэтажку от хлебного магазина.

– Настя, он не простынет?

– Наоборот, – щурясь через пыльное стекло, разглядывает Саломатин фигурку внизу, – закалится и болеть не будет.

Настя влазит на подоконник и кричит в форточку:

– Пронька, встань сейчас же! Ты меня слышишь? Встань сейчас же!!

– Форточное воспитание, – Саломатин открыл кастрюльку и вдохнул пары. – Амбре!

До меня доходит, что он слишком большой оптимист, наш Саша, чтобы покончить с собой в такой вот солнечный день.

Пронька встал, отряхнулся и перебежал дорогу.

– Он у меня все окрестности изучил, теперь не заблудится.

Сын вскарабкался по обледенелым ступенькам хлебного магазина, исчез внутри за лёгкой фанерной дверью. С минуту его не было. Мы все стояли у окна и смотрели на плоскую крышу магазина: что под ней происходит? Саша улыбался неизвестно чему, каким-то своим мыслям, может, новой идее, ещё более приблизившей его к решению гипотезы.

Но вот покатился из магазина чёрненький клубочек: быстро-быстро, даже ножек не видно, и руками не машет – почему бы это? А за ним продавщица в белом халате гонится,

вот, догнала возле самой дороги, отобрала булочку, пальцем погрозила, и скорей обратно в магазин – похолодало, ох, похолодало ближе к вечеру.

Я схватил Саломатина за растянутый ворот свитера, прижал что есть мочи к стеклу и заорал:

– Смотри: вот оно, настало, гляди теперь, этого ты хотел, да? Этого добивался? Смотри, лучше смотри!

А он и сам не мог оторваться взглядом от дороги, где в клубах чёрного дыма исчез Пронька, – там, внизу, тяжело, надсадно рыча, так что весь дом и все, кто в нём живёт, сотрясаются от дрожи, лезли в гору тяжёлые строительные машины-панелевозы. Я расплющил ему губы, нос о стекло. Он согласился, что дальше так продолжаться не может. Ушёл на балкон.

Сквозь двойные рамы, закопчённые гарью ближних заводов и затянутые тоненькой вечерней изморозью, виднелась крупная саломатинская фигура, а также разный балконный хлам, доски, на перилах белые пластмассовые ящики для цветов, из которых торчали сухие стебли, припорошённые снегом.

Дул резкий, обычный для февраля северо-западный ветер. Просторная рубаша Саломатина рвалась в полёт. Он смотрел на заходящее солнце, плавающее в густом тумане дыма, мял пальцами длинный стебель, который летом был цветком василька. Я отвернулся, чтобы не видеть.

Саломатин покончил счёты с жизнью настолько незаметно, что никто об этом даже не узнал. Никто, кроме меня, разумеется. Мне он был чрезвычайно близок, как-никак второе я. А может, даже и первое.

– Пойду, куплю хлеба и булочек.

– Да, пожалуйста, купи.

– Кстати, я тут нашёл подработку: дворником в детский сад. Восемьдесят рублей в месяц, и место для Проньки обещали.

– Ой, хорошо бы! А как же время на... гипотезу?

– Хватит дурью маяться, пора диссертацию кончать да защищаться быстрее.

Пронька носился по сугробам. Я помахал ему рукой и кинулся скорей в хлебный магазин, который вот-вот должен закрыться.

Навстречу по обледенелому тротуару осторожно пробиралась женщина в очках с лицом близорукой прачки. Она улыбалась мне, как старому знакомому. На ней длинное пальто, огромные сапоги с медными пряжками, каракулевый чёрный берет...

ЖИЛ-БЫЛ В ТРАВЕ КУЗНЕЧИК

Улица раскинулась жёлто-песчаной пустыней, дыша жаром, пугающе необозримая: противоположная сторона её терялась где-то далеко в знойном июльском мареве. Дороги не было. На месте дороги вырыт глубочайший ров для неизвестных нужд. Им пришлось долго искать обходной путь, чтобы перебраться на чётную сторону.

Километрами протянулись плотные заборы вдоль вымерших на полуденном солнце переулков, пугливая тишина причудливым образом сливалась с многоголосым хором кузнечиков, прыгавших на путешественников с высоких кустов полыни.

Если бы не встречавшиеся на каждом шагу помойки, в которых лениво рылись кудлатые дворняжки, могло показаться, что здесь давно никто не живёт. Иногда, впрочем, совсем рядом, кажется, прямо над ухом слышались обрывки чьих-то разговоров. Возможно, из-за забора, где текла иная, недоступная путешественникам жизнь. Котляревские шли впереди, разговаривая между собой на повышенных тонах.

Настало время, когда всем сделалось окончательно ясно, что они заблудились. Как назло, другие прохожие на странной улице начисто отсутствовали.

Андрей Борисович один раз нечаянно увидел в косом чёрном окне домика чей-то глаз, выглядывавший из-за шторы, и побежал к завалинке узнать дорогу, но глаз тотчас испуганно закрылся, пропав в темноте внутреннего пространства.

Они шагали по кустам паслёна, продирались сквозь молодую тополиную поросль, прутья стегали лица, а смолисто-липкие от жары крупные листья, покрытые тлём, касались оголённых плеч Ванды, приводя её в ярость.

Оскорблённая безобразием местного быта, она гневно тыкала пальцем в гнилушки человеческого крова, на зелёные, во мху, дощатые крыши, восклицая: "Как они живут, пресвятая дева Мария! Скажите мне, разве достойно людям так жить?". Однако, будучи вдохновительницей похода и его предводителем, продолжала вести всё дальше в дебри разрухи и зарослей.

Если бы не Ванда, Ведерников давно повернул назад. Теперь он каялся, что пустился с Котляревскими в это преглупое путешествие, закипал от вопросов Ванды, от жары, а больше от сознания того, что мог бы сейчас спокойно лежать у себя дома на диване, в прохладе каменного дома, и смотреть телевизор. "А как им жить, – хотелось спросить ему, – и чего хорошего они здесь с детства видят, чтобы жить по-другому?"

Обходя кучу шлака, он приблизился к краю обрыва, и остановился в изумлении, позабыв об опасности.

Далеко внизу, в ярком солнечном блеске лежала белая песчаная долина, прекрасный чистый пляж без моря, и по этому девственному пространству стаями носились мизерные, вроде тёмных точек, чрезмерно подвижные существа, глядя на которые возникало подозрение, что вечное движение и *perpetuum mobile* возможны в природе, и даже во множественном числе.

Как ни приглядывался, ни прищуривался близоруко Андрей Борисович, не смог разобрать подробностей, что это там такое, и чем более напрягал глаза, тем сильнее им овладевала глубокая тайная тревога. Мерещилось нечто до жути знакомое, похожее на рассыпанные детали хорошо известного механизма.

Да нет, то не железки на дне валяются, то формы биологические шустрят, братья по разуму, можно сказать, и где-то в школьном курсе зоологии, на пятьдесят седьмой странице эта самая штука в разрезе изображена, но пойдя теперь вспомни, чего там было тридцать лет назад.

Молниеносное движение каждой отдельной точки, подчинённое непредсказуемому случаю, в групповом их поведении представлялось очень

согласованным, и напоминало игру в футбол двух неумелых команд, где все с неиссякаемой энергией гоняются за одним невидимым мячом.

Что же происходит там, внизу, на дне котлована? Что там, в принципе, может быть? Определённо ничего хорошего. Однако же есть всему этому по крайней мере разумное объяснение?

Он склонился над краем, пытаясь лучше рассмотреть странную картину донного бытия и составить своё собственное объяснение, но все мало-мальски подходящие гипотезы легко опровергались, и Ведерников по-прежнему пребывал наедине с терзающим разум непониманием так близко и очевидно происходящего.

– Андрей Борисович, не свалитесь, а то без вас и нас не пустят, – крикнула Ванда шаловливо. – Вы сегодня наш пропуск в прекрасные палестины.

Буксуя подошвами в горячем песке, он поспешно отступил в сторону, – от увиденного сделалось не по себе. Или для того, чтобы понять смысл песчаного игрища, надо побывать там, на дне? Чтобы познать социализм, нужно пожить в нём? Даже смешно делается. Что это может быть? Пляжная команда футболистов? Или собаки затеяли беготню? Почему ничего нельзя различить? Так ведь не бывает, это нелогично.

Идущая впереди Ванда поправила сползающий парик, как ефрейтор пилотку.

"Какого чёрта я вообще с ними согласился пойти к неизвестной Марине на день рождения? И отчего этим ужасным Котляревским, несмотря на африканскую жару, явно нравится быть в чёрном? Постой, с каких пор друг Сёма Котляревский стал ужасным? Да, конечно, ужасный, ты присмотрись получше-то, открой глаза: гляди, как энергично и напористо летят они нога в ногу по серым барханам, заросшим паслёном, поди попробуй остановить таких-то, ничего не выйдет. Нет такой благой силы в природе. И сами они ни перед чем не остановятся, с презрительными надменными минами на лицах – гордые и чуждые здесь иноземные странники. Слишком жарко. Сейчас мне будет дурно. Чёрный с блёстками гипюровый блузон Ванды переливался праздничной, новенькой змеиной шкурой, матово-белые шары рук, шеи, лица без кровинки покрыты чудовищным слоем пудры.

Сам Котляревский – длинный, смуглый, набриолиненный, смазливый, точно магазинный манекен, с развевающимися фалдами дирижёрского фрака. Два парадных дьявола, спешащие на похоронное торжество.

А диванный человек, которого они взяли в оборот и тащат куда-то за собой, в мятом пиджаке и непривычном галстуке, туго затянутом петлёй на шее, запарился, давно выбился из сил, томим сомнениями, жарой, пылью. Он плотно закрыл веки. Сделал над собой усилие, а когда разомкнул их, как дверь в иной мир, всё осталось прежним, и только солнце, упершись раскалённым лбом в зенит, палило ещё злей. И на этот раз ему не удалось проснуться.

Всё остаётся прежним. Ему сорок три года. Шестнадцать месяцев после смерти матери он живёт один в квартире, где застоявшийся воздух пахнет несвежим бельём. После работы Ведерников автоматически возвращается туда, включает телевизор, ложится на диван, тяжело ворочаясь, читает купленные у букиниста потрёпанные романы, полные иллюзий, пока не засыпает. Книга валится на пол.

Ночью откуда-нибудь из кухни приходит мать. Усаживается на кровать, которую рука не поднимается выбросить, и сидит там – высохшая до невесомой бесплотности старуха с седой желтоватой косицей за ухом, в ночной рубашке, обшитой кружевными оборками, коим и прежде она находила место на любой одежде, сидит в темноте, не доставая ногами до полу, меж двух подушек, взбитых полтора года назад, в день её похорон.

Просыпаясь в темноте, Андрей Борисович слышит хриплое астматическое дыхание и спит дальше лёгким отроческим сном. Мать не просит, как прежде, при жизни, измерить давление и дать лекарств, вообще ни разу не молвила слова, одно дыхание говорит о том, что она по-прежнему здесь.

После долгого блуждания в песках Андрей Борисович и Котляревские вышли к калиточке, почти незаметной в глухом тесовом заборе, на которой бурой краской был густо намалёван искомый 258-й номер.

"Вот и добрались", – без всякой радости, и даже совсем равнодушно подумалось Андрею Борисовичу в тот момент, когда, устав казаться бесстрастным флегматиком, каким выглядел внешне, он ступил под призрачную тень сухого ободранного тополя, нисколько не спасавшую от жары, вытянул из кармана носовой платок и промокнул круглую физиономию, напоминавшую большой тульский пряник, где некоторым изыском отличался разве что по-ассирийски загнутый на конце нос, доставшийся Андрею Борисовичу от какого-то внеанкетного предка.

Нос болезненно ныл, грозя облезть к завтрашнему дню.

Над забором, как в концлагере, проходил ряд окаменевшей от древности колючей проволоки.

– Наконец нашли. Думала, уж и не дойдём вовсе. Семён, приведи в порядок Андрея Борисовича, ему по статусу положено сегодня быть молодцом и кавалером, – с этими словами Котляревская протянула какую-то специальную щёточку с бархаткой, и приятель бросился отчищать Андрею Борисовичу костюм от прилипчивого тополиного пуха.

Андрей Борисович слабо отбивался. Ему страшно не хотелось за калиточку. Он топтался на одном месте, пока Ванда, опершись на забор, выколачивала из туфель песок, а в трёх шагах от них (он помнил об этом постоянно) находился край смертной ямы, полной другой, непонятной жизни. Было это всё когда-то уже: и номер 258, и Котляревские в траурно-чёрном, и сухая, истощённая почва под ногами, исчезающая в далёком мареве. А внизу другая, неизвестная сторона безбрежной улицы, события фатально вели к одному: обратно из калиточки он уже не выйдет, но через определённый срок вновь будет вынесен неисповедимым круговоротом под пепельно-сухие ветви двух тополей на вершине. А может, всё изменилось бы от одного прыжка в ту пропасть? Шальная мысль влетела в голову, освоилась там быстренько, и трудно было её объяснить: глупость это или, наоборот, гениальное освобождение, обещавшее вечный покой и нирвану?

Спустя некоторое время, сидя за покрытым белой праздничной скатертью столом, Андрей Борисович с приятностью размышлял, что когда ещё в двенадцатом часу пополудни он, понимаешь ли, человек субботний, валялся у себя дома на диване, на скомканной простыне, небритый, только что проснувшийся и уже смертельно уставший, перечитывал третьего года давности журнал, совсем не подозревая, что где-то в неизвестном ему месте знают о грядущем его приходе, и там готовятся чудесные блюда, изысканные закуски, вот это заливное, к примеру, или та вон фаршированная шука, начинённая яйцами и рисом, и мясом, и жареной, сластящей, своей же икрой, а всевозможные салаты в хрустальных посудинах... просто голова кружится: какие запахи, какие запахи, чёрт возьми, отвык он от всего этого, питаюсь последние месяцы почти исключительно ливерной колбасой с чаем и сушками.

Вместе с прочими гостями он выпил рюмку холодной водки за именинницу Марину, которая была настолько ослепительно хороша, что Андрей Борисович поостерегся даже рассматривать. Стало тепло и блаженно.

Своё особенное, не очень приятное положение Ведерников почувствовал сразу, из поведения других гостей: ему оставались быстрые полувзгляды и четвертинки взглядов, выражавшие приблизительно следующее: "Ах, это и есть тот самый... Да-с. Ну, уж извините..." Вместе с тем ему оказывался предупредительнейший, единоклассный, но какой-то осторожный почёт, которого он вроде ещё мог и не оправдать. Сопоставив факты, Андрей Борисович склонился к выводу, что его привели на смотрины.

Круг присутствующих не был широк: кроме Котляревских и самой хозяйки, за стол присаживалась иногда хлопотливая, с иссохшим пергаментом лица приятельница

Марины, одна из тех особ, что всегда заняты устраиванием чьих-то посторонних судеб. Ведерников не расслышал, как её зовут, но про себя назвал Вожатой. Она вещала до того звонким пионерским голосом, что Андрей Борисович непременно вздрагивал при первых звуках, вылетающих из её рта.

Голос Вожатой звучит то на кухне, то в комнате: вот ещё раз здесь, поблизости, прямо над самым ухом – бодрый, линейный, сверхактивный, а его бальзамированная, вечно-живая хозяйка унеслась за новыми угощениями на кухню и командует гастрономическим парадом оттуда.

Разлитием спиртного за столом заведовал розовый и почти лысый добрейший дядюшка Александр Палыч. После того как он наполнил третью рюмку, Ведерников рискнул взглянуть на хозяйку Марину, и определил, что она действительно на редкость хороша собою, и в этом смысле не чета Ванде.

Верней сказать, он подумал следующим образом, глядя на опущенную вилку: "Слишком красива, чересчур для меня хороша, ничего не выйдет, надо уйти побыстрее." Всегда отлично знавший своё место даже после двух рюмок, сейчас он испытал душою плавный восходящий подъём, и спросил себя: "А может, ты, брат, чуть-чуть перебрал с непривычки, отвык от водки, от общества, и она не так уж хороша, как тебе сейчас кажется... и можно остаться?".

Прямо над ними пронеслась ширококрылой птицей Вожатая, держа в костистых пальцах огромное фарфоровое блюдо с жёлто-промасленным пирогом, нарезанным на фигурные геометрические кусочки:

– Пирога отведайте, гости дорогие!

– Надо, надо... под пирожок, – подскочил дядюшка Александр Палыч со своего места. И пропел хриплым фальцетом: – По рюмочке, по рюмочке, по рюмочке налей! По рюмочке, по рюмочке, чем поят лошадей! – Подмигнул Ведерникову: – Разве сравнить с тем, что в кулинарии продаётся?

Ведерников никогда не покупал пирогов в кулинарии, но с радостью согласился, что не сравнить. Во рту тает пирожок.

"Давненько ничего подобного не пробовал. Женюсь, ей-богу женюсь, и вовсе эта идея не так дурна, как казалась утром, когда Семён что-то намекал на интересное знакомство. Почему, собственно говоря, он должен грызть несокрушимо твёрдые сушки всё более редущими зубами, дышать застарелой пылью, обходиться без женской руки и участия? Если только по привычке, то, несомненно, привычка эта дурная, и её следует преодолеть – вон её, вон! И Семён с Вандой совсем неплохие люди, мирные, добросердечные, из-за него потащились в этакую даль. Что-то здорово, однако, меня развезло. Надо бы выйти освежиться на улицу, эх мне этот дядюшка с его лошадиными дозами".

Вполне здоровое рассуждение подняло Андрея Борисовича на ноги, как-то внезапно и для него неожиданно, повлекло куда-то, как ему казалось, на выход, но дверей имелось несколько, и очутился он в небольшой, уютной кухонке, где за столиком, отдельно от взрослых, сидел к нему спиной худой ушастый мальчик и что-то кушал.

"Должно быть, это и есть сын Марины", – вспомнил Ведерников речи Ванды во время путешествия, тогда казавшиеся пустой и ненужной информацией, а теперь вдруг наполняясь нежностью к остреньким колючкам-позвонкам, торчащим сквозь маечку на спине.

Чувствуя на себе посторонний взгляд, мальчик поёжил плечами, заёрзал. Андрей Борисович загадал: если тот обернётся, то всё сложится как нельзя более благополучно, если нет... тут уж ничего не поделаешь, и он сейчас же уйдёт, не прощаясь.

Мальчик пил молоко, оборачиваться не желал. Ведерников расстроено вздохнул, поворотил к выходу, но был остановлен Вожатой.

– А, вы здесь, с Володенькой, то-то я думаю, где они, а они туточки оба голубчика, – она свалила груды грязной посуды у мойки и, приблизившись к Андрею Борисовичу, зашептала довольно громко:

– Прелесть, скажу вам, что за мальчик. Золото, чистое золото парнишечка, таких уж больше не сыщешь, лучше и не найдёте.

Шея и уши будущего ведерниковского сына побагровели. Андрей Борисович испугался, как бы он от застенчивости не откусил край чашки, и вновь попытался выскользнуть из кухни, но Вожатая крепко взяла его за руку и продолжала:

– Да вы не опасайтесь, с ним проблем никаких не будет. Мальчик исключительно послушный и учится хорошо. Смирный очень, всё больше сам с собой играет тихонечко. Нет, лучше Володеньки мальчика я не видала, уж вы поверьте, с младых ногтей в народном образовании, и кое-какой опыт имею, – она посмотрела тем, вполоборота, коронным взглядом пожилых учительниц, которые не сомневаются, что о детях они, слава богу, знают достаточно. Затем ещё раз повторила, очевидно, для закрепления материала, – золото, а не ребёнок.

Ведерников согласно кивнул, забрал свою руку обратно и осторожно протиснулся мимо.

В сенцах покуривали Котляревский с Александром Палычем. Дядюшка – толстенький, радостно-пьяный – вынул изо рта папироску и, хлопывая Ведерникова приветливо и пытаясь даже расцеловать, восторгался:

– Видел вас, дружок мой, как вы по краю ямы брели бесстрашно, и голова, ничего, не кружилась. Отчаянный хлопец, рисковый, ну да я люблю рисковых, да, люблю, это мне по душе, по сердцу, потому как сам такой, собственной персоной и есть. А как вам ямища наша приглянулась?

Ведерникову не понравилась фамильярность дядюшки, его лобызания. Он намеревался прохладно возразить, что ямища ему совершенно не понравилась, по самой своей сути она есть не что иное, как безобразное отношение городских властей к жителям, но сквозь бурный словесный поток Александра Палыча невозможно было пробиться.

– Не правда ли, – продолжал дядюшка весело-угрожающе, – есть в ней нечто ужасное, неизъяснимое? Всеми святыми и грешными клянусь: когда-нибудь этот маленький домик тоже в неё рухнет со всем своим содержимым, и зеркало вот это полетит – фью... И жалко, жалко, голубчик, я понимаю, что жалко, добрая вещь, старинная, столько лет простояло – и ни царапинки, а ничего не поделатъ – ухнет вниз вместе с кроватями, столами и нами самими, так и засвистит в тартарары. Туда, сударь мой, ежедневно знаете какие глыбы отваливаются? Не дай бог сегодня ливня, не дай, в ливень всякое может случиться. Но что самое любопытное – сколько туда дерьма всякого ни падает, а дно всегда чистое, белое, песчаное и эти... самые... бегают, носятся туда-сюда как перпертумы. Что, сударь мой, так устались? И вы тоже рухнете без малейшего промедления, как время придёт: пол вдруг под ногами рр-раз, одна плашечка влево кувыркнётся, другая – вправо, и тогда уж... Тогда держитесь... Так-то, милый мой...

У Ведерникова ноги непроизвольно дёрнулись, как во сне, когда падаешь:

– Разве нельзя засыпать?

– Господь с вами, засыпать! Ни в коем случае нельзя! И думать забудьте. Невозможно! Яма-то чья? А? То-то и оно. А то – засыпать. Яма-то государственная и, стало быть, по ведомству проходит, а дом, извольте заметить, и мы с вами не более чем явления частного порядка. Судите сами, за кем преимущество. Далее... да вы бросьте расстраиваться, когда ещё чего, а он, нате пожалуйста, – расстраивается, губы вон побелели, не переживайте, ведь никому не известно, когда полетим туда вверх тормашками за своё дрыгоножество. Но всё одно полетим, зарубите себе на носу. Это

точно. Аж дух захватит. Слышь, Семён, чёрт рогатый, как правильно будет сказать: дух захватит или дух подхватит?

– Кого подхватит, – отвечал Котляревский, попыхивая сигареткой, – а кого и захватит. Как скажут, так и сделаем. Мы люди ответственные, дисциплину блюдём, опять же присягу давали. Какой с нас-то спрос?

– Шутники. – Ведерников оттолкнул будущего родственника от себя, но не сильно. Не дай бог, рассердится.

Вышел в огород. По скамейке бегали мелкие садовые муравьи. Андрей Борисович рухнул на них карой небесной.

Пьяное блаженство охватило его. Он испытывал необыкновенное умиление и рассеянным взором бродил по светлому небу, гвоздастому забору, ягодным кустам и пышной зеленокудрой помидорной ботве, думая про себя, насколько всё-таки замечательно будет им с Мариной хозяйствовать на этом участке летом. Зимой они будут жить у него в благоустроенной квартире – так он заранее рассудил.

Огородик мал, словно куплен в игрушечном магазине, и кончается в трёх шагах от носка туфли Андрея Борисовича. Но большого им и не надо. Рядом со скамейкой стояла крашенная синей краской бочка, и ещё оцинкованная ванна, новая, сверкающая, полная тёплой, прогретой солнцем воды с блестящими пузырьками на дне. Было бы недурно освежиться по такой погоде.

Рядом с ванной на земле сидел Володенька в маечке и шортах. В руках его трепыхалась бабочка с оторванным крылышком.

– Что-то дымом пахнет, – чересчур умильным тоном начал разговор Андрей Борисович, и резко закончил: – Уж не куришь ли ты, братец?

– Нет, – внятно шепнул Володенька, опуская глаза.

– Прекрасно... мда... В таком случае чего сидишь здесь один, а не пойдёшь на улицу играть с ребятами?

– Я люблю один.

– Извини, брат, не верю, – Андрей Борисович громко и явственно икнул. – Я вот тоже всегда один да один. И сегодня утром тоже дома сидел один, скучно было – ужас, а теперь у вас в гостях совсем по-другому себя чувствую. Может, бьют ребятишки?

– Нет, не бьют, мучают только.

– Как так?

– По-разному. Я не люблю с ними играть. Они всегда сначала играют, а потом начинают мучить, потому что сильнее меня.

– Тогда не играй с ними.

– Я не играю.

– У вас в огороде тоже неплохо.

– Да. Хорошо. Я с солдатиками играю. Это жуки такие, они в сарае живут, в досках под корой. Ещё у меня есть гусеницы, мотыли и стрекозы. Стрекозы самые выносливые, долго могут мучаться и не умирать. А солдатика от газа скоро засыпают. Вот здесь газовая камера, там из бумажек и травы получается дым. В траншеях живут гусеницы, они тоже не умеют мучаться сильно, сразу помирают. Хорошо их жечь через увеличительное стекло. Они вредители.

Андрею Борисовичу вдруг сделалось дурно, он вскочил, неудачно повернулся и, как был, в одежде, рухнул в тёплый прозрачный океан, дёргая длинными зелёными ногами с такой силой, что вода забурлила.

Ничего страшного, судари мои, по такой погоде приятно искупаться, одно жаль – усы намокнут. Какие усы, не было ведь усов, что за чушь? Марина, Марина.

Одежда с него исчезла, обнажив зелёные мускулистые ноги. Андрей Борисович даже не подозревал, что под рубахой и штанами скрывается столь мощное сухое тело коренной природной выделки. Всё дело в том, что последнюю неделю спал прямо в одежде, поэтому и не уследил прекрасного превращения. Он страстно возмечтал

оказаться в этом прозрачном океане вместе с зеленотелой Мариной. Захваченные подводным течением, посребрѣнные воздушными пузырьками, они летели бы рядом в светлые пучины на совместную жизнь, а потом бы он вынес её на пустынный берег, и вот тогда...

Андрей Борисович хотел вожделенно застрекотать, но вода поглотила те звуки, что так хорошо долетают до любимой в разгар жаркого дня среди сухой прогретой травы.

Розовый айсберг-ладонь увлѣк Ведерникова за собой в глубины, когда он только собрался вынырнуть и отдышаться.

Его быстро несло над серебристым кладбищем дна, по которому были разбросаны мелкие, скрюченные смертельной судорогой насекомые, вроде него – пожилые, порадовались в своё время белу свету, сушкам с ливерной колбаской, и ныне, никем не поминаемые, стайками мечутся по дну во прахе. "Господи, – ужаснулся Андрей Борисович, – у меня усы вымокли – это плохо кончится! Ах, мой бедный мальчик с тоненькой шейей, где ты? Не иначе твои, братец, проделки?"

Любовь к Марине не позволяла Ведерникову погибнуть скоро. Она укрепляла жизненные силы, когда он о ней думал, заслоняясь от всего ужасного образом Марины, как щитом, и почти не чувствовал страданий, но океан для начала уничтожил вместо жизни любовь, её делалось всё меньше. Тѣплый Гольфстрим нѣс Андрея Борисовича на огромной глубине большими кругами вместе с другими мѣртвыми паучками, гусеницами, сороконожками, прочей братией, и надежды на счастье тоже начали понемногу умирать. Исчезла из сознания зеленотелая Марина, придававшая силы, померк свет.

Андрей Борисович вытянул длинные ноги, судорога распрямила намокшее, чѣрное уже тело, и он забыл жизнь.

Потом после вечного забытья очнулся на райски-безбрежных подушках розового цвета, от которых исходило животворное тепло. Сверху тот, кто мучил его, теперь дышал жалостью и слезами, пытаясь отогреть твѣрдое, остывшее тело своим дыханием, шептал ласковые словечки.

– Володенька, не видел Андрея Борисовича? Он сюда не заходил? – Ванда, потрянув сиреневыми кудряшками, оглаживая блузон, оправляя его на плечах и животе, слегка пошатываясь на свежем воздухе, просунулась в огородную калиточку.

– Заходил.

– И где же он?

– Залез в бочку купаться.

– О пресвятая мать наша, говорила же я Марине не брать водки, в такую жару прекрасно бы сухим вином обошлись.

– Андрей Борисович, – мягко подкрадываясь на цыпочках, пропела она уже смешным голосом, – дяденька Черномор вы наш ненаглядный, выныривай быстренько, невеста заждалась. – Котляревская испуганно оглянулась на мальчика, но тот ничего не слышал, возился со своим дохлым кузнечиком, делая ему искусственное дыхание.

– Голуба Андрей Борисович, ну, достаточно баловать, – Ванда стыдливо заглянула в бочку и растерянно отпрянула.

– Володенька, там нет никого. Куда же он подевался?

– Ушѣл, наверное.

– Ах ты, чѣрт. Что я теперь Марине скажу? Беда с этими старыми холостяками, одно расстройство и только. Ладно, завтра я до него доберусь, поди, на своём диване уж бока отлѣживает.

Но напрасно грозились Ванда Станиславовна добраться до Андрея Борисовича. Не пришѣл он в свою квартиру ни через день, ни через два, ни через неделю. И вроде как совсем дома жить перестал. Диван Андрея Борисовича скоро покрылся слоем пыли, столь же густым и бархатистым, как и тот, что лежал на прочих вещах. Бдительность

ЖЭУ проявилась в данном случае медленнее обычного, РОВД вообще не привык торопиться в таких делах. Ведерников был объявлен пропавшим и занесён в розыск.

Последующие же события развивались много стремительнее.

Не прошло и месяца – в квартиру вселился, вроде как бы временно, до выяснения обстоятельств со старым жильцом, некто Ивания Рудольф Иванович с женой и ребёнком. В районном исполнительном комитете депутатов трудящихся Ивания получил ордер по закону и рекомендации райкома партии.

Всё бы хорошо, да замечательно, кабы однажды не проснулся Ивания среди ночи. Глядь – а на кровати у него в ногах сидит неизвестная старуха с пегими косицами, в ночной рубаше, глядит в окно на луну и тихонечко так баюкает свою ладонь, на которой сидит то ли сверчок какой, то ли кузнечик. Баюкает старуха того сверчка и даже вроде как знакомые слова поскрипывают кроватью: "Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Придёт серенький волчок, схватит Дюшу за бочок".

Жутко сделалось. Хотел разбудить жену, но по трезвому соображению отбросил эту мысль, ибо если старуха действительно присутствует, то женщина умрёт от испуга. Нервная очень. А если старухи нет, самого упекут на лечение в психбольницу, и тогда конец партийной карьере, которая только-только началась: по весне избрали секретарём цехкома. Рудольф Иванович решил, что этот ужас дан ему в наказание за неверный образ жизни.

Таясь и оглядываясь, зашёл после работы в церковь, где поставил под образа самую дорогую свечу, и даже собрался поверить в бога – потихоньку, про себя: может, пройдёт чёртово наваждение?

Но, как назло, возле православного храма расселось множество мордатых, наглых нищих, которые, притворно заискивая, выпотрошили униженными взглядами карманы Ивании не хуже знакомых райполкомовцев при получении квартирного ордера, так лихо, что он зачертыхался и, отворачивая лицо от прохожих, бежал прочь.

И вот, как верно говорят, чужая душа – потёмки, так и все товарищи впоследствии ошибались, думая про Иванию, что он самый что ни на есть счастливый человек на их производстве. В райком его уже пообещали забрать после отчётно-выборной конференции, старую квартиру прежней жене оставил, сам с молодой в новой живёт припеваючи, и компанейский мужик, и выпить не дурак, и поесть, и здоровьем бог не обидел, жить ему, одним словом, да радоваться.

Он бы и радовался, может быть, если б не видеть, как приходит по ночам невесть откуда бесплотная старуха, садится на чужую семейную постель и баюкает своего молчаливого сверчка всю ночь напролёт, до самого рассвета.

ПРОХОЖАЯ

Очень интересная женщина шла по улице и несла большую сумку со всеми необходимыми по списку вещами, не слишком тяжёлую, но объёмную.

И даже с неудобной сумкой в руке походка у неё – высший класс!

Шла женщина, шла, навстречу ей – бывший муж. Увидел – обрадовался:

– Постой! Куда летишь? – говорит. – Как хорошо, что встретились! Я о тебе уже несколько дней думаю, даже звонить сегодня вечером собирался, а тут наудачу смотрю – ты идёшь! Знаешь, что хочу сказать? Зря мы расстались! Давай сойдёмся обратно? Давай сойдёмся и родим ребёнка! Нет, правда, не шучу, не думай, как на духу говорю. Seriously, давай вместе жить настоящей большой семьёй, с детьми. Одного, точно, мало, надо будет двух-трёх завести.

Одинокая красивая женщина удивилась таким речам, задумалась секунды на три:

– Нет, – отвечает, – извини, мне некогда.

И пошла себе дальше ещё быстрее со своей объёмистой сумкой.

Красиво идёт! Прохожие мужчины через одного засматриваются на стройные ноги. Как у девушки, а уже тридцать пять.

Навстречу целое семейство высыпало из магазина: любовник, жена любовника, их дети. Через полторы секунды замешательства все выказали солидарную радость от нечаянной встречи.

– Куда с сумой несёшься? – спрашивает жена любовника. – Давай подвезём, у нас сегодня детский тур по магазинам.

– Да тут недалеко, – отказалась интересная женщина. – У меня тоже вроде того, извините, время поджимает.

И пошла себе дальше. Ей, и правда, не очень далеко.

Вон оно, рукой подать – здание больницы, где за весьма умеренную плату делают аборты.

ТАМ, ГДЕ ХОРОШО

Делать было нечего – она пошла за всеми.

Убрала с парты обгрызенный карандашик, сложила в портфель тетради и учебники; когда очередь дошла до авторучки, насупила коротенькие незаметные на мучнистом лице брови, – все пальцы снова сплошь покрыты вьедливыми фиолетовыми пятнами. Опять драгоценнейшая изволила протечь.

По Веркиному разумению, ручка была чертовски дорогой (один рубль тридцать копеек), к тому же карябала и рвала самую лучшую, самую глянцевою бумагу противным жёстким пером. Но, несмотря на все эти очевидные недостатки, Верка полюбила миленькую ещё на витрине киоска, и не раз бегала после уроков любоваться чудесным перламутровым блеском, и очень боялась, что кто-нибудь купит миленькую раньше, чем она успеет накопить денег.

Когда ручка стала течь, Верка сшила из куска старой клеёнки чехольчик, и всегда таскала её с собой в кармане передника.

– Как некрасиво-то, миленькая, – укорила она шёпотом ручечку, пряча её на место в чехольчик, и наконец полностью разогнулась над партой и, свободно задышав, принялась оттирать чернила с влажной ладони.

Урок заканчивался в страшных, невидимых миру судорогах. Из домашнего задания она не смогла выполнить ни единого упражнения, ибо давно уже – с самой осени – ничегошеньки не понимала на уроках математики из того, что объясняла и спрашивала учительница. Потеряв нить смысла, подолгу вчитывалась в строки, с бестолковой суетливостью листала страницы учебника, который начинал казаться ей книгой чёрной магии, наполненной священной абракадаброй, достойной понимания иных, разумных людей.

Спрашивать объяснения боялась, это могло привести к подтверждению в среде одноклассников её великой глупости: вежливому смеху отличников, дурацкому гоготу болванов и вообще излишней концентрации внимания, чего Верка никак не желала для себя, поэтому на уроках тихо мимикрировала, как можно теснее прижимаясь грудью к доскам парты.

Было бы самым чудесным делом, если бы её вообще никто не замечал – ни одноклассники, ни учителя, ни прочие люди, никто, никто, а она со своей стороны постаралась бы существовать ниже травы, тише воды, чтобы никому, никогда, ни в чём не помешать.

О таком идеальном бытии Верка иногда страстно и безнадежно мечтала в самых неподходящих местах, забываясь, воспаряя; и тонкая голубоватая плёнка застила при этом расширившиеся зрачки.

Когда учительница, кроша нервными тонкими пальцами мел, рисовала на доске огромные формулы, она с самым преданным и упорным видом, на который только была способна, перерисовывала в тетрадь закорючки, буквы, знаки, уже не надеясь даже на отдалённый миг озарения. Что вдруг когда-нибудь дверца откроется по волшебной команде "сезам", и всё вдруг станет ей понятным. Нет, заслонка в башке задраена наглухо, она никогда ничего не поймёт.

Одноклассники гурьбой повалили на выход, Верка же долго ещё копалась в безразмерных внутренностях портфельчика, то ныряя в него с головой, и тогда снаружи оставался исключительной хрупкости аккуратно подшитый белый воротничок, то запуская туда по локоть худые цепкие руки, и при этом уставя немигающие, травянистые глаза в матовый плафон наверху. Она ничего не искала, но, сжигаемая сомнением, с мучительной скукой перебирала валявшиеся на дне давнишние разлохмаченные бумажки да потихоньку боролась с тревожным жаром, навалившимся откуда-то сверху; напрягалась поочерёдно руками, животом, ногами, и стискивала хрусткие пальцы в бледно-голубые комочки кулаков, внутри которых было холодно, липко, сыро, как после лягушки.

Следующим уроком в расписании стояла физра, надо решить немедленно: бежать с неё прямо сейчас или остаться и всё стерпеть.

Верка ещё немного потянула время, пока самые копуши не вышли из класса, решительно загладила ладонью, поплевав на неё, жёсткие патлы секущихся волос, выдавила на лицо нехорошую улыбку – встала, и пошла за всеми. Ничего не решив, подчинилась общему целенаправленному движению.

Со второго этажа класс длинной растянутой цепью устремился на первый, в узкий тёмный коридор, похожий на кривую длинную трубу, один конец которой внезапно ослепит за поворотом неоновым провалом спортзала, а на другом с не ослабевающей ни на минуту злостью сглатывая простуженным горлом порции холодного воздуха, хрипло кашляет входная дверь, и у Верки на эти резкие звуки, как во сне, дёргаются ноги – бежать! Но нет, по-прежнему она лениво тащится за всеми, словно привязанная.

А в спортзале светло и пыльно. Укусный запах чужих разгорячённых тел защипал в носу, под потолком висит ещё громкое эхо криков "гааа-аа-ааа...", рыжий толстый канат издали кажется мокрым, хоть выжимай.

У стен раздевалки громоздятся туши чёрных, вонючих матов. Широко расставил копыта козёл с варварски распоротым боком; от аромата потелой резины сушившихся на батарее кед дрогнули поджилки, и все кругом: тяжёлые сетки с мячами на стенах, маты, мостики, – все как один требуют от неё перенапряжения, на которое нет и никогда не было сил.

Неужели сейчас опять, снова, в который раз она будет под общий гадкий смех не в лад маршировать, не в ту сторону поворачиваться, тыкаться носом в чужие спины, неуклонно дуряя от всего этого? Будет глотать тошноту, подступающую к горлу после каждого кувырка, будет валиться с бревна и, чуть не воя от безнадёжности, впиваться утопающей в рыжий канат, пытаюсь отодрать неуклюжее тело хотя бы на сантиметр от пола, – неужели всё это неотвратно? Или всё-таки бежать? Пока не поздно?

Верка натянула застиранную форму, давно превратившуюся из чёрной в серую с пегими пятнами, бочком прошмыгнула мимо девчонок, замерших перед единственным зеркалом, и, втянув голову в плечи, вышла – провалилась прямиком в огромный спортзал.

Ей сделалось холодно. Рыжая, с большим обветренным ртом, сильно сутулясь и приседая на тоненьких ножках в своей чересчур короткой и поэтому сильно натянутой на мощи футболке, с уродливо торчащими набалдашниками коленок. Именно такой рассмотрела себя в зрачках миниатюрного хорошенького мальчика с красивым смоляным блестящим чубом, чёрными, кругленькими, тоже будто лаковыми, глазками, и не смогла не поразиться безобразности отражения.

Он стоял среди пацанов, поглядывал на дверь девчоночьей раздевалки, но та, которую ждал увидеть, ещё была у зеркала, как вдруг на ступеньки выползло нечто абсолютно ей противоположное, оскорбительно противное. Он покривился, будто внезапно ткнулся с размаха лицом о крепкую паутину, хотел прошипеть, но от внезапной ненависти, схожей с испугом, тонко выкрикнул: "У, выдра!" – и, закусив малиновую губку, отвернулся, чтобы не видеть длинного осоловелого лица, шелушащейся кожи,

торчащих из-под футболки выпуклых больших рёбер – словно не тело там, а старая сломанная корзина.

Все посмотрели на него, потом на неё.

– Вот уродина, – настойчиво повторил мальчик приятелю, но уже другим, нормальным голосом, словно извиняясь за излишне проявленные чувства.

Тот согласился вполне равнодушно:

– Выдра она и есть, – подобрал у стены баскетбольный мяч, прошёлся, пружинисто стуча об пол, бросил в кольцо и не попал.

Верка мгновенно развернулась обратно. Кеды прочь, застиранные штрипки – к чёрту; чулки налезли шиворот-навыворот – всё равно, что образина – знает не хуже других, умных, самой в зеркало противно глянуть, и тут впервые поразила мысль: "Другим всё время видно, а ты про себя забываешь". Это было ужасное открытие.

Сумасшедший ураган смял её в стремительный комок и вышвырнул вон из коридора, была там, но уже мчится где-то, не раскрывая глаз, ослепшая, по заполненной весенним солнцем улице, не чуя под собой ног, и сердце зашло от бешеного бега, от крика в спину; захлёбывается, клоочет, да разорвись же ты быстрее, проклятое!

Портфель и холщовая сумка с кедами болтаются в руках, задевая грязные верхушки осевших сугробов. Перед самым носом трамвая моментально перескочила звенящую сталь пути, и по ручьям, далеко разбрасывая старыми фетровыми ботинками снеговую кашу, помчалась дальше.

Это ужасно, просто ужасно подумать, что будет дальше. Опять скажут: "Харламова, вы дура душой, а ещё с уроков бегае. Сидела бы себе тихонечко, так нет, неймётся ей, видишь ли, побегу устраивает, политкаторжанка. Будем разбирать".

Она не думала, куда бежит, но, ясное дело, скоро очутилась возле поликлиники, в которой мать работает кастеляншей и где Верка ошивалась всё свободное время, делая что прикажут, бегая куда пошлют.

Запрыгнув с разбега на невысокое деревянное крыльцо, она подтянула спавший во время побега чулок. Показываться на глаза матери было ещё слишком рано, сейчас следовало укрыться от знакомых в каком-нибудь укромном местечке и переждать.

Она пробралась на первый этаж, в самый тёмный угол, заставленный пальмами, рядом с кабинетом хирурга замерев на краешке скамьи.

Народу на приём к хирургу всегда мается много. На Верку напала дремота; несколько раз она тягуче зевнула, скрючилась, положила затылок на стенку, поглядела в окно, выходящее на северную сторону: близко чернела труба больничной кочегарки, высоко до кромки забора вскинулся сугроб, – и прикрыла веки. Немножко хотелось умереть.

А отлично было бы не ходить в школу вовсе: работать, к примеру, санитаркой в больнице и мыть полы шваброй (больные вежливо поднимают ноги) или, как мать, гладить в подвале бельё и петь песни, или выдавать одежду в гардеробе. Трёхзначные числа – вот и вся математика, а на хлеб с квасом хватит. Работай себе потихонечку и работай, никому до тебя дела нет, рябое лицо, корявое ли, да пусть даже совсем нет никакого, никто не заметит. Кому надо? У всех своих болячек хватает, раз в больницу пришли. Не трогают, не травят, не учат, не издеваются. Самое настоящее счастливое счастье, право, на раздевалке стоять лучше всего будет. Верка размечталась необыкновенно.

Потом дверь раскрылась, из кабинета вышел человек, ослабленно держащий перед собой забинтованную руку, а следом, постукивая свёрнутой в трубочку медицинской карточкой по ладони, хирург Иван Степанович, тучный старик с жёлтыми проспиртованными пальцами, от которого больше, чем от кого-либо в больнице, пахнет йодом и карболкой. Он заострил взгляд на Верке: "Ты здесь чего?".

– Здравствуйте, ничего...

Сцепив пальцы на обширном животе, Иван Степанович убеждённо опроверг её:

– Ничего – пустое дело.

И пошёл дальше, разметая воздух полами халата.

У него много дел, нужных людям. Верка позавидовала хирургу, несмотря на его старость и толщину. Убегая глазами подозрительных взглядов больных, опасавшихся, что если она знакома врача, то зайдёт вне очереди, Верка побрела искать другое убежище. Конца физкультуры она дождалась на четвёртом этаже, перечитывая санбюллетень о палочках брюшного тифа, известный ей почти наизусть.

Во внутреннем дворе поликлиники лежал ещё по-зимнему синий сухой снег, который не могло взять мартовское солнце. Она быстро заскользила по ледяной чёрной тропе к подвальному входу, за которым помещались больничная кочегарка, прачечная и кастиелянная. Возле бревенчатых стен здания снег вытаял до прошлогодней травы. На другой стороне двора стояли рослые тополя, и возле конюшни Дарья запрягала Воронка ехать в столовку за обедом для медперсонала.

Верка остановилась на полпути, чувствуя полную защищённость в этом дворе. Особенный, весенний воздух с горчинкой дыма. Вдалеке, на солнце, парят влажные доски сарая, зазеленел мох на мокром, прогнившем столбе.

Глаза ошалело округлились, она взбрыкнула на месте и, оскальзываясь то и дело, побежала тропинкой, размахивая сумкой, как пропеллером, над головой, влетела в подвал на осыпающиеся шлаколитые ступени, снизу мгновенно опахло углем, холодной плесенью, хозяйственным мылом.

У матери в кастиелянной свежо от чистого, выглаженного белья, стопами лежащего на полках; топорщатся иссиня крахмальные занавески на сырых окнах. Мать раскинула по столу слоёный пирог серых, ещё влажных простыней, встряхнула его хорошенько и придавила утюгом. Пирог зашипел, опадая на глазах. Сухой, горячий потянулся белый-белый след. Мать вздохнула грудью, словно пробуждаясь, вполголоса затынула своё любимое: "Проходи стороной, не скажу ни слова...".

Высоко на трубах в кастиелянной висят крупные прозрачные капли. Изредка они срываются и падают, холодные, вниз, на пол, на бельё, а то и прямо за шиворот. Верка поёжилась.

Кроме матери в кастиелянной медсестра Маруся из ухогорлоноса. Стоит с плечиками в руках и очень придирчиво разглядывает манжеты и воротник висящего на плечиках халата. Маруся уже старенькая, с хитреньким сморщенным лицом. Нос-пуговичка будто обнюхивает халат.

– Не смотри, не смотри, – чуть раздражённо обрывает мотив мать. – Сделано – комар носа не подточит...

– Мней-то чевоу-та, – ответила Маруся, но более разглядывать не стала. – Читоб только туды-сяды зря не бегать. Нашей подай читоб хрустела да блестела, да посверкивало... Смотри-ка, Верка твоя. Из школы, Веруня?

– Из школы...

– А никак, видали тебя в полуклинике давным-давно, – хитренько улыбается Маруся (у, езуетка), – на четвёртом этаже у физиотерапии не ты блукала?

– Не я.

– Вон как...

Мать насторожилась.

– Опять сбежала?

– Не-а.

– Смотри у меня, чтоб училась, ясно? – и погрозила пальцем. – Ох и достукаешься, Верка, когда-нибудь.

Положение осложнялось. Верка швырнула носом, бессмысленно раскрыла рот, чтоб спросу было поменьше. Однако Маруся продолжала терпеливо приглядываться искоса мелкими серенькими глазками, всё видящими: и математику, и побег с физры, и

трезвонящий трамвай, чуть не содравший с Верки ботик. Марусю на мякине не проведёшь.

– Ну, ладненько, в гостях хорошо, а дома лучше. Работёнка подждат, однакося, и Клавдя Иванна скажет: «Иде мой халат?».

– Клавдия Ивановна у тебя писаная красавица, как гляну – душа обмирает.

– Эй-то она холодной водой умывается, – с радостью объяснила Маруся, – от того и белизна, и в глазах огонёк живёхонький блеск-блеск, самой что ни на есть холоднучей, чтоб кололась и щипалась, а мы-то всё потеплее стараемся, а надоть – наоборот. Поняла, Веруня? Так-то, подружка.

Верка хихикнула и вперёд выкатилась из кастелянной. В кочегарке визжало точило – новый кочегар затачивал топор, безбоязненно осыпая синими искрами черноту бетонного пола. Верка независимо прошла мимо, и кочегар вроде бы совсем не обратил на неё внимания, но стоило взяться за дверь душа, сразу окликнул:

– Эй, ты куда? Горячей воды на отопление не хватает, я там отключил горячую, – блеснули белки на цыганском лице.

Веруха затрепетала. Новый кочегар оказался не кто иной, как учитель труда, преподававший мальчишкам столярку. Наверное, подрабатывает здесь. Верку он не признал. Опять включил станок.

– Я холодной, – прокричала она и закрыла за собой дверь.

В тамбуре тускло светит из-под потолка закрытая большим колпаком да ещё вдобавок железной сеткой лампочка, чуть освещая скользкие стены, покрытые малахитовой плесенью. Трубы лохматятся бурой ржавчиной. Ей показалось, что она находится в узком пыточном каземате. Вдрагивая оголяющимся телом, начала осторожно раздеваться, стараясь не прикасаться к стенам. Потом включила кран.

Обхватив себя руками, в нерешительности закрыла глаза, но, вспомнив ненависть мальчика с оливковыми глазами, шагнула вперёд – и враз задохнулась от холода. Впившись ногтями в спину, боролась изо всех сил с собственным телом, которое поплавок выскакивало из воды. Она слишком ненавидела его, чтобы жалеть.

Застыв насмерть, Верка еле смогла закрыть проворачивающийся кран. Стала обтираться клоком списанной простыни, когда почувствовала резкую подкожную боль на груди, беззвучно зевая, скрючилась у пола, зайдясь от боли.

Потом всё так же внезапно прекратилось. Она расчесала огрызком гребешка мокрые сосульки на голове, оделась и пошла обратно, а навстречу в подвал спускалась гардеробщица. Тётя Шура увидела Верку, обрадовалась, засмеялась даже: "А я её ищу везде. Иди, Верунь, стой за меня, пока отобедаю".

У раздевалки, как водится, собралась уже очередь, недовольно постукивающая по барьеру номерками: две старухи в шалих на покатых плечах, мужчина с угрюмым, ничем не довольным лицом, какое бывает, если у человека без всякого отдыха болит живот, и ещё несколько женщин разного роста и возраста.

Верка принялась таскать пахнувшие сушёными грибами тяжёлые салоны старухам, меж тем радостно думая, что уже умеет делать одно взрослое дело по-настоящему и в случае чего сможет работать гардеробщицей за милую душу, получая, как вон Никитишна, целых шестьдесят рублей в месяц. Здесь очень неплохо будет работать всю жизнь, и совсем необязательно оканчивать восемь классов. Щёки Верки покраснелись от удовольствия. Очередь быстро стаяла; оставалось человека три, когда к барьеру подошла чудной красоты женщина, для которой Верка только что перекидывала лёгкую блестящую шубку, пахнущую другим, неизвестным, высшим миром.

Она была очень недовольна Веркой. Та сразу ощутила растерянность, и у неё опустились руки: "Какое красивое лицо, на такое, конечно, всем смотреть приятно", – успела подумать она, сгибая шею под удар.

– Вы всегда так поступаете, милочка? – громко спросила женщина из другого мира, разглядывая Верку в упор.

– Как? – несмело улыбнулась Верка, понимая, что этот разговор не сулит ей ничего хорошего, и в то же время восхищаясь и радуясь, что с ней разговаривает такая прекрасная женщина.

– Таскаешь мелочь из карманов?

– Нет... – Верка опешила, глупо растворив рот. – Нет, что вы...

– Ну, слава богу, что не всегда. И вообще таскать не нужно, – женщина накинула шубу и пошла на выход, громко стуча подковами сапожек, с каждым ударом вколачивая Верку всё ниже и ниже.

Она принялась дальше носить одежду под внимательными и недоверчивыми взглядами больных. Глупая улыбка не сходила со свекольного лица. Сделалось очень жарко, пот, стекающий со лба, вытирала прямо локтем. Даже когда Никитишна, неповоротливая после обеда, засыпая на ходу, сменила её, Верка, надев пальто, продолжала улыбаться до тех пор, пока не очутилась на больничном дворе.

Утираясь поминутно кроличьей шапкой, она тянула тихонько на одной ноте: и-и-и-и-и-и-и-и... утиралась и опять и-и-и-и-и-и-и-и... и шла, шла, не дыша, туда, где никогда никого нет, и где хорошо.

Возле конюшни вскарабкалась на больничный забор (а с другой стороны стоял остаток чужого забора, отделяя маленький треугольник ничейной территории между конюшней, больницей и чужими огородами, в который едва вписывалось угловатое Веркино тело), и рухнула вниз, прямо на снег лицом.

Здесь всегда сумрачно. Летом растёт высокая крапива, сейчас тихо таял рыхлый стеклянистый снег.

Она вытянула из сугроба ноги, осторожно перевалилась на спину, упершись острыми плечами в сужавшиеся стены заборов, слыша, как темно и тихо сочится сверху по доскам талая вода.

Верка глядела ничего не видящими глазами в открытый ей кусочек ясного неба, по которому суматошно чиркали живущие под стрехой конюшни воробьи, и никто во всём свете не знал, что она лежит здесь, что ей уже не так плохо, как прежде, а скоро станет совсем хорошо. Травянистые глаза бродили по небу, постепенно заволакиваясь тонкой голубой плёнкой. Глупая Верка снова начинала мечтать, и никто более уж не мог помешать ей.

ТРИ ОСКОЛКА В ОДНОМ СЕРДЦЕ

1. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТЁТЯ САША!

Домик тёти Саши прячется внутри зелёного квартала частной застройки на краю города, откуда рукой подать до соснового бора.

Прекрасное, тихое местечко: вокруг деревянного домика небольшой сад, огороженный штакетником, где растут три яблони, большая груша, очень много малины, смородины. Вишня со сливой живут здесь просто для красоты, обильно цветут по весне, но ни разу не плодоносили из-за обычных заморозков в начале июня.

Я люблю приходить сюда поздней осенью, когда всё кругом убрано, прибрано, перекопано, листья опали, высохли и сожжены вместе с обрезанными ветками. По-осеннему видно далеко вокруг, и так хорошо сидеть на скамеечке в плаще и шляпе под лучами светлого, призрачно-октябрьского солнца, дыша свежим, прохладным воздухом, кажется, состоящим из одного чистого кислорода.

Тётя Саша моя единственная кровная родственница, если, конечно, не считать четырёхлетней дочурки, которую иногда беру с собой. Дочь играет сама по себе, не мешает мне думать, у неё глаза моей мамы, такие же пронзительно чистые, почти не моргающие, как на фотографии, стоящей на рабочем столе. Когда невзначай натыкаюсь на этот серьёзный взгляд маленького ребёнка, то поневоле вздрагиваю. Тётя Саша тем более.

Но и летом я люблю бывать здесь, и весной, иногда прихожу зимой. Почему не навестить старую одинокую тётушку-долгожительницу? Хотя и надоедать негоже, но что-то тянет прийти и побыть вместе.

До замужества тётя Саша жила в нашем родовом дедушкином доме, где у неё была своя комната, как и у моего отца. Выйдя замуж, она осталась пребывать в той же комнате с законным супругом, дядей Женей.

Отец женился поздно, когда уже болел. Можно сказать, он сделал это вопреки своей болезни, или назло ей, пытаясь переиначить судьбу, predeterminedенную медицинскими диагнозами.

Потом родился я.

В какой-то степени именно я стал причиной утери тётей Сашей её законного места жительства под родительским кровом, это отчётливо проявлялось в прежних взаимоотношениях, немного чувствуется и теперь, но что делать, коли давно в тётинной комнатке стоит кровать моей дочери? Свято место пусто не бывает.

Что ещё мне нравится у тёти Саши – это ворота на улицу. Большие, высокие, для въезда грузовиков с углем и дровами, их открывают пару раз в год, а в одной створке проделана маленькая калиточка для людей. Всё основательно, на несколько слоёв крашено бурой краской. Заходишь в калитку, перед тобой открывается прямая, длинная-предлинная дорога, заросшая травой, с еле заметной тропинкой посерединке между двумя

соседскими заборами из штакетника, и по этой тропинке идёшь метров сто до веранды тёти-Сашиного домика.

Просто отличная тропинка, по которой можно гулять вечером, совершая моцион: ходи туда-сюда, и думай о чём угодно.

Когда я здороваюсь, приходя в гости к тёте Саше, то первым делом с интересом всматриваюсь в её лицо, чем-то сильно напоминающее фотографии давно умершего отца. В свою очередь тётушка взглянет колко снизу вверх, и начинает моргать тонкими старческими веками быстро-быстро, словно совсем невероятную вещь увидела, на что не очень хочется смотреть, а надо.

Я тоже знаю, что сильно похожу на отца, никакого секрета в том нет, даже с женьбой, как и он, припозднился. За одним малым исключением – здоровье моё совершенно отменное.

Потом она улыбнётся неяркой улыбкой выцветших губ, ответно поздоровается. Тусклые, глубоко посаженные глаза отведёт, и больше в лицо уже не смотрит, всё куда-то рядом, а говорит почти неслышным, бабушкиным голосом – так все в семье утверждали, но я бабушки совсем не помню, её голоса, естественно, тоже, остаётся просто верить на слово старшим.

Когда был жив дядя Женя, мы поддерживали разговор в основном с ним, он очень любил показывать свои домашние достопримечательности: фарфоровую китайскую лампу с немного треснутым абажуром, большое дерево лимона в кадучке с несколькими зелёными и жёлтыми плодами, от которых приятный цитрусовый запах распространялся по зале и всему дому, высоченные напольные часы столетней давности, с бронзовыми римскими цифрами на циферблате, купленные во время войны на барахолке. Потом пили чай.

После того, как дядя Женя умер, никто более не рассказывает о семейных реликвиях, впрочем, и надобности особой нет, я давно выучил всю Илиаду наизусть. Китайская лампа уж сколько лет как перестала включаться, но часы по-прежнему идут медленно и верно, ничего им не делается, отличный старинный механизм.

Мы с тётей пьём чёрный байховый чай, только теперь не в зале, а на кухне за маленьким расшатанным столиком, покрытым клеёнкой с дырками на углах. В этом неспешном чаепитии присутствует своя невысказанная семейная приятность.

Мама рассказала мне однажды по большому секрету, что когда она забеременела мной, тётя Саша пригласила её в свою комнату, тоже как бы на чай, и долго уговаривала сделать аборт: “Борис неизлечимо болен, еле ноги на работу таскает, как потом ребёнка сможешь поднять одна?”. Но мама в тот раз не послушала золовку и родила. А на другой раз послушалась и сделала аборт.

Почти год после моего рождения мы все ещё жили бок о бок, рядом: тётя Саша с дядей Женей в своей комнате, мама с папой и мной в своей. Пока дедушка не распорядился в последний раз – их комнату передал мне: “Внуку побегать как следует негде!”, а они купили себе этот домик на окраине.

Тётя Саша ушла на новое место жительства и больше никогда под родительскую крышу не заглядывала, даже на дни рождений. Так бывает в семьях от большой обиды: дед умер – завещал всё отцу, отец умер – завещал всё мне, тётя Саша осталась без наследства. Жила в своём тихом флигеле посередине сада с мужем дядей Женей. И никто ни к кому в гости не ходил.

Но после смерти мамы я начал изредка навещать к тёте Саше – всё же единственная родственница осталась на белом свете, тянет побыть рядом, перекинуться словом, заглянуть в лицо с семейными чертами, услышать неведомый тихий бабушкин голос, чая попить.

Иду вот опять по длинной тропинке от ворот, иду, иду, подхожу к веранде, звоню в дверь. Выходит тётя Саша – маленькая, сгорбленная старушка в тёплом платке и

порыжевшей фуфайке. Смотрит снизу вверх ускользящим взглядом, моргает быстро-быстро несколько раз.

– Здравствуйте, тётя Саша! Здравствуйте, дорогая вы моя! Решил вот навеститься, проведать свою единственную тётушку. Может, не вовремя? Эх, была бы сестра у меня или брат, к ним бы бегал, всё меньше вам надоедал...

Целую в сморщенную холодную щёку, отдаю коробку с тортиком, смотрю на фамильные черты.

Родная кровь.

2. ШМАРА

На углу квартала стоит ничем не выдающийся серый сумрачный дом, огороженный тесовым, тоже серым, никогда не крашенным забором. В палисаднике, густо заросшем сиренью, прячутся три тёмных окна.

Дом как дом, на вид ничего особенного, но местные жители стараются обходить его, предпочитая другую сторону улицы или дорогу. Здесь живёт блатной гитарист Толик, по кличке Галич.

Старожилы сказывают, что Толик связался со шпаной по малолетству и первый срок получил за мелкую кражу. Второй – за разбой.

В тюремной драке ему отбили почки, к тому же он заразился туберкулёзом, и, выйдя после второй отсидки, зарёкся ходить на нары, но и с блатными не завязал.

Наоборот, открыл в родительском доме воровской притон, по-местному шалман, где круглосуточно рекою лилось вино, волчары с надрывом тянули под гитару блатные песни, пили-гуляли, резались в карты, торговали краденым, дрались поножовщиной. Престарелые родители Толика сбежали от такой жизни из собственного дома аж в другой город.

Сам Толик прославился тем, что замечательно играл на гитаре и пел приятным серебристым голосом. Тёплыми майскими вечерами выходил на улицу с гитарой, всегда одетый по такому особому случаю в белый фланелевый костюм, мягкую белую шляпу, смуглый, загадочный, почти красивый в вечернем мраке, садился на лавочке у своего дома.

В заросшем палисаднике душно цвела сирень.

Неведомыми путями узнав о предстоящем концерте, сюда со всего города прибывала молодёжь – любители и любительницы самодетельной песни, стилиаги, маменькины сынки и дочки.

Особенно хорошо у Толика получались песни Галича, который среди местных воров считался крупным московским авторитетом, воров в законе, паханом, прошедшим Крым, Нарым и медные трубы.

Зато ближние соседи не любили, когда Толик начинал петь Галича. А заодно и самого воровского поэта не любили. “Не к добру, – говорили пожилые тётки, тревожно всматриваясь в сумеречный край квартала, как в некую опасную зону, – опять Галич кого-то хомутает. Ох, и плакать родителям завтрева. Куда ж эта милиция только смотрит?”

А Галич, как никто другой, умел хомутать шмар. Играл и пел он так, что заслушаешься. Говорил вежливо, со всеми на “вы”, как настоящий одессит Костя в изображении любимого народом артиста Бернеса. Также вежливые молодые “шестёрки” угощали поклонниц блатной бардовской песни, шансона, джаза, Ван Гога и Мане вкусным вином, раздавали сигаретки с марафетом.

Тревожно и страстно пахла в палисадниках сирень, или цвели ранетки в огородах, или дурманил пряным цветочным ароматом ночной табак. Малиново горели в темноте огоньки сигарет, брала за живое поэтика тюремной мужской тоски и страданий вольной

воровской души Галича, гибнущей в прокурорских лапах. В конце выступления Толик вставал, кланялся, изысканно прощался. Его умоляли спеть ещё, но он всё же уходил со смешком: де, прохладно, сыро стало, для слабого здоровья опасно. Тихо приглашал с собой некоторых, самых симпатичных, интеллигентных девушек, перед носом прочих калитка захлопывалась.

Всем детям на квартале матери строго-настрога запрещали даже проходить возле той калитки. И Мишке тоже, но однажды, когда ему было лет пять, он нарушил этот родительский наказ.

Рано поутру шёл за молоком к магазину, куда машина привозила цистерну к восьми часам. С семи люди уже начинали занимать очередь.

Шёл по пустынной дороге, тёр заспанные глаза и помахивал бидончиком. На лавочке возле углового дома сидела странного вида девушка в модном платье, с босыми ногами и растрёпанными волосами. Огромные неземные глаза были широко распахнуты, но будто спали, она не обратила никакого внимания на Мишку, который приостановился рассмотреть диковинную красавицу.

Смотрел-смотрел, взял да подошёл.

– Тётя, – позвал тихо, чтобы не услышал кто за толиковым забором, – вы уходите отсюда быстрее, здесь нельзя сидеть.

Она, казалось, не слышала, напоминая подбитую невесть кем большую сизую птицу, которая влетела к ним однажды с улицы в комнату и стала разгуливать по полу, не боясь остолбеневших людей, оставляя за собой лужи чёрной крови. Мама тогда испугалась, что это к беде.

Не дождавшись реакции, тронул за руку.

– Тётя...

Незнакомка вздрогнула, отшатнулась, будто он её сильно ударил, и вдруг бросилась бежать, как слепая, отталкиваясь рукой от заборов.

Тем летом взрослые шептались, что какая-то шмара Галича повесилась ночью прямо на тополе возле его дома. Мишке не хотелось думать, что это та самая красавица с застывшими глазами, которую он видел сидящей рано утром на лавочке, но вещее детское сердце упрямо наводило на горькую мысль, от которой само сжималось и противно обмирало.

3. И Н Ф Е К Ц И Я

В гости к маме пришли старые подружки, которых она опять не видела сто лет.

Лёлику всего-навсего четыре года, но двоих из старых подружек: тётю Олю и тётю Дашу он отлично знает, а третью, тётю Свету, действительно увидел в первый раз.

Гости сидели за круглым столом и пили чай, тётя Даша, как всегда, что-то громко рассказывала и хохотала одновременно, когда он вбежал в комнату, вернувшись с улицы, и сказал: “Здравствуйте!”.

Все старые подружки ужасно обрадовались Лёлику, в один голос заговорили, как он вырос с их прошлой встречи на той неделе, и стали звать садиться с ними за стол. А тётя Даша принялась уговаривать его расти ещё быстрее, да брать её замуж, пока она окончательно не обратилась в старую деву.

Говорили все, кроме тёти Светы. Лёлик знал, что сейчас станет центром общего внимания, и впервые ему не захотелось этого настолько, что он без сожаления отказался от чая, однако из комнаты не ушёл, сел в уголке на стул и затих там, с доверчивой улыбкой разглядывая тётю Свету, будто именно она каждый вечер рассказывает сказки по телевизору.

– Ты руки помыл, с улицы пришёл? – спросила мама.

– Нет, я потом, перед едой.

Тётя Света удивительнейшим образом не походила на прочих людей.

У неё надо лбом высокой волной вздымался начёс пепельных волос, и затем крутым водопадом обрушивался назад, до самых плеч. В этом буйном обрамлении шея смотрелась тонкой, бледной, беззащитно изогнутой. Лицо тоже особенное, чистое, скромное, будто она всех, и его, Лёлика, в том числе, так стесняется, что вот-вот вскочит и убежит.

Глаза долго не показывались из пушистых ресниц, смотрели прямо перед собой – на стол. Только когда взяла песочное печенье из розетки, откусила ровными белыми зубами кусочек и прихлебнула из чашки чай, в этот миг, словно извиняясь, глянула васильковым взглядом.

Лёлик воспрял духом и принялся ещё зорче изучать, как тётя Света улыбается краешками губ, как поправляет волосы над ухом, как поворачивает голову. Он непрерывно впитывал весь её образ в память до самых наимельчайших деталей и самых неуловимых движений.

Гости уже окончили пить чай, а просто сидели болтали, когда мама вдруг заметила:

– Смотри, Света, как Лёлик на тебя уставился, наверное, ты ему очень приглянулась.

– Ну вот, и здесь облом, – немедленно обиделась тётя Даша, – что ты будешь делать! Лёлик, а Лёлик, неужто тебе Светка нравится, а не я?

Тётя Света сконфузилась ещё больше.

Лёлик глядел испытующе и молчал. Он знал, что слова «нравится», «понравился», «понравилась», – не очень чтобы очень. И если сейчас сказать «да», все обязательно начнут смеяться и над ним, и над тётей Светой, а ему бы этого не хотелось. Ему бы хотелось, чтобы никто ничего не заметил. Кроме самой тёти Светы, разумеется.

«Эта тётя Даша – девица ещё та». Папа всегда так говорил маме, когда гости уходили. Мама никогда не спорила, но всё же именно тётя Даша была её главной задушевной подругой.

Он думал, как ответить, а молчание затягивалось. Наконец в голову пришло подходящее папино слово, над которым, он надеялся, никто не засмеётся.

– Она симпатичная.

Но всё же он – не папа. Все просто покатались со смеху. А когда отсмеялись, тётя Даша вздохнула:

– Ну вот, один был жених, и того не стало.

Когда гости прощались в прихожей, Лёлик тоже вышел провожать к дверям. Он увидел, как тётя Света ложечкой обула туфли. Сделала она это замечательно красиво.

Лёлик набрал в грудь побольше воздуха и произнёс громко:

– Приходите к нам ещё! – и в этот момент схитрил, уже не глядел на тётю Свету.

Гости подумали, что он такой добрый, снова всех приглашает, расчувствовались, стали осторожно чмокать его покрашенными губами в лоб. Он морщился, а тётя Света не чмокнула и ушла просто так.

Вечером вернулся с работы папа, поинтересовался:

– А где у нас Лёлик?

– Спит. Сегодня так набегался на улице, что сам пошёл вечером и лёг.

– Сам лёг? – удивился папа. – Феноменальный случай!

А Лёлик не спал. Лежал с закрытыми глазами в своей комнате и слышал, что о нём говорят родители, думая, что он спит. Ему было хорошо, уютно, тепло. С закрытыми глазами он видел, как тётя Света подносит к своим губам печенье, обнажаются её зубы, прижимают печенье и отламывают самый-самый краешек. После чего следует стеснительное прикосновение мягких губ к чашке, и следом горло делает особенно красивое глотательное движение.

Он ощутил на лбу руку папы.

– Мне кажется, – сказал папа, – у ребёнка температура.

Папа никогда не может точно определить, есть температура или нет, у него в таких случаях одни подозрения, и он зовёт маму.

У мамы рука легче и прохладней, она определяет чётко: тридцать семь и пять.

Но всё равно трясёт градусником над его лицом и лезет с холодным стеклом под мышку, да ещё прижимает крепко руку к боку, чтобы градусник не выпал. Лёлик смотрит на тётю Свету и терпит.

– Лёлик, что болит?

– Ничего. Мне хорошо.

– Тридцать восемь, – сообщает мама через несколько минут, удивлённая, что так ошиблась. – Надо дать аспирина, набегался сегодня.

– Да, надо сбить температуру, – соглашается папа. – А завтра с утра вызвать врача на дом.

Лёлика сажают на кровати, подносят к губам стакан воды, таблетки, которые он берёт на ощупь, не открывая глаз, запивает, а как раз в этот момент тётя Света скромно поправляет прядку над ухом, и он не может позволить, чтобы она исчезла хоть на секунду.

Потом родители приходят вместе, по очереди трогают лоб и облегчённо вздыхают. Тётя Света как раз, присев, обувает белую туфельку.

– Лёлик, ты спишь? – подозрительно спрашивает мама.

Лёлик молчит. На эту удочку он давно не попадает.

Потом вдруг, когда тётя Света бросает на Лёлика свой взгляд, её рука тоже оказывается у него на лбу, и мамин голос взрывается:

– Срочно вызывай «скорую», у него страшная температура!

Стекло лезет под мышку. Не холодное, а приятное, как всё вокруг.

– Сорок градусов, – шепчет мама, – сорок градусов, ну где же эта «скорая»?

В комнату вваливается куча народа. Включается яркий свет.

– Выключите, выключите!! – кричит Лёлик, – мне не видно!

Свет гасят. Включают настольную лампу, засунутую под стол. При этом Лёлик всё же может разглядеть в своих закрытых глазах голубую венку на молочно-белом виске тёти Светы. Венка надувается очень редко.

Невидимый грубый врач ругает маму, что она давала аспирин.

– Организм должен сам бороться с инфекцией, а вы ему только помешали. Понизили защитные функции, как это называется? Ребёнка забираем в больницу. Кто поедет сопровождающим?

Мама кричит, что она, папа логично доказывает, что он. Поедет папа.

– Лёлик не помыл руки с улицы, я вспомнила, он не помыл руки, – плачет мама, – пришёл и не помыл!

– Не расстраивайтесь, мамаша, – сердито говорит врач, – в больнице сделают все необходимые процедуры. Надо было сразу «скорую помощь» вызывать, а не кормить ребёнка аспирином.

Больше Лёлик никого не видит и не слышит.

Он снова вбегает в комнату: тётя Оля, тётя Даша... кто за ними? Тётя Света! Его подхватывает горячая волна блаженства, успокаивающая, приподымающая над землёй и несущая в неведомые просторы.

А папа в это время дремлет на деревянной лавке в приёмном отделении. А мама бежит по квартире, и сама пьёт разные таблетки. Напрасно, ничего не помогает.

Без четверти шесть утра в пустынный холл выходит усталый человек в линялом мятом халате, штанах того же болотного цвета, похожий на пациента-хроника, живущего здесь месяцами. Он оглядывается по сторонам, видит отца ребёнка, но всё равно оглядывается ещё раз: вдруг есть кто другой? Никого больше нет.

Они идут навстречу друг другу.

- Инфекции в крови не обнаружено, - глядя поверх плеча родителя, сообщает доктор, - не было никакой инфекции. И, тем не менее... острый воспалительный процесс в коре головного мозга с последующим кровоизлиянием... Мы сделали всё, что могли, но, к сожалению... Окончательную причину назовут сегодня, до двух часов дня, по результатам вскрытия. После двух можно будет забирать. Вы сейчас езжайте домой, подготовьте жену. Машина ждёт у входа... вот сюда, сюда, пожалуйста, пройдите, в эту дверь...

СЕМЕЙНЫЙ ТУР

Нынче откроешь газету – а там реклама, реклама, ничего кроме разноцветной рекламы, просто глаза разбегаются! Читать стало трудно, разве так пролистать, от нечего делать. В путешествия приглашают и на Кипр, и в Анталию. Каждую неделю по четвергам и субботам самолётом из Новосибирска. Смешно. Между прочим, так и не съездили они с Михалычем на юг, к морю. Да и не было особенного желания, если честно.

Кроме рекламы ещё ужасы любят печатать, к примеру, как председатель медэкспертизы трупы отсылал в Германию, где из них делают муляжи и в музеи за деньги показывают, по всему миру возят. Председателя на этом деле поймали, но суд его оправдал, сказал, что такая деятельность имеет научно-культурное значение, а бесхозные трупы для нашего отечества никакой материальной ценности не представляют.

«Вот ничего доброго не напишут, – вздохнула пенсионерка, – что попало собирают».

В седьмом часу Светлана Павловна начала протяжно посматривать в сторону настенных хромированных часов с чрезвычайно медлительным маятником, и даже незаметно для самой себя два раза подошла к кухонному окну, из которого видна была трамвайная остановка. Наступило время, когда муж возвращался с работы.

Хотя Михаил Михалыч умер два года тому назад, закоренелая вечерняя привычка никак не оставляла её в покое. «Будет тебе, будет», – произнесла вслух Светлана Павловна, отмахнувшись неизвестно от кого, включила телевизор, села перед экраном в левый диванный угол (в правом любил сидеть Миша), взяла недовязанную кофту с клубком, но всё равно чутко прислушивалась, ожидая услышать знакомую череду звонков в прихожей.

На сей раз требовательно дзынькнул телефон.

Звонила Зоя Никифоровна, сослуживица и ученица Миши, сменившая его на посту главного специалиста-ревизора сразу после выхода Михалыча на пенсию.

Прежде Светлана Павловна всего несколько раз говорила с ней по телефону, а видела дважды, в последний раз на похоронах, но знала о жизни Зои всё до последней мелочи.

Известно ей было и о том приснопамятном случае, когда всего единожды за свою тридцатидвухлетнюю беспорочную жизнь Зоя Никифоровна потеряла голову, исчезнув со служебного банкета вместе с молодым разведённым сотрудником отдела ценных бумаг. А на следующий день так клевала носом, буквально падая измождённым лицом на дырокол, что Михалычу пришлось срочно ловить такси да отправлять беднягу домой – отсыпаться.

На похоронах у Зоеньки глаза были на мокром месте, впрочем, как и у всех Мишиных «девочек», пришедших проститься с бывшим начальником. Зоя клятвенно обещала Светлане Павловне не забывать, звонить, и точно, звонила потом два или три раза, когда Михал Михалычу за прежнюю работу причитались в кассе какие-то деньги, и их могла получить вдова.

Оживлённым, весёлым голосом Зоя начала рассказывать, как она на субботу-воскресенье ездила в Новосибирск по турпутёвке, побывала в арт-галерее на международной выставке нового искусства, именуемого гуманистическим авангардом.

Светлана Павловна слушала, не до конца понимая, зачем Зоя так подробно рассказывает про заграничную выставку, в душе тихо радуясь; даже придвинула стул и села у телефонного столика.

Зоя Никифоровна заговорила быстрее, словно собираясь высказать нечто важное и неприятное, что ей бы хотелось проговорить с разбега, будто опасалась, что её могут прервать вопросом. Однако Светлана Павловна и не думала останавливать, слушала, улыбалась, в паузах вставляла поощрительно: «Так-так, интересно». Замечательно, что Зоенька позвонила. Хорошая девочка, не забывает...

А та вдруг выпалила, словно прыгнула через костёр:

– На выставке видела Михал Михалыча. Загорелый такой...

– Так-так, интересно... Что??? Что ты сказала?

Убитым голосом Зоя пролепетала, что она полчаса там специально стояла, присматривалась, ошибки не может быть никакой. Хотя...

Светлана Павловна прекратила её умоляющее нытьё энергичным вопросом:

– Где это?

И, записав номера маршруток, идущих до выставочного зала в Новосибирске, положила трубку не прощаясь.

Она прекрасно знала, что Зоя Никифоровна не могла ошибиться или спутать Михал Михалыча с кем-то другим. Напрасно голосок эдак вибрирует, она ей верит. Миша был особенным человеком, не походил на других людей, его в принципе невозможно с кем-то спутать. Но говорить с Зоенькой дальше не могла. Сердце зашло.

Нет, всё правильно, не ошиблась девочка, и она тоже ведь чувствовала, и в снах ей снилось, и что снилось-то, боже мой, что только не снилось!

Светлана Павловна поднялась со стула, быстро прошла на кухню, взяла расписную скалку, пошлёпала по ладони: «Так-так. Значит, в Новосибирске. Вот оно что. Гуманистическое искусство сидит караулит. Других забот нет. А какие могут быть ещё хлопоты? Здесь на кладбище под мраморным надгробьем лежит-полёживает, отдыхает, и в Новосибирске на выставке подрабатывает. Хорошо устроился, совместитель, нечего сказать. Седина в бороду, бес в ребро. Ах ты прохиндей лысый! Ладно бы только её обманул, ведь детей заставил убиваться. Как же смог такое провернуть? Да как только в голову могло такое прийти?».

Светлана Павловна ужаснулась.

Положив скалку на место, бросилась к шкафу, достала сумочку, в которой хранила пенсию, накинула кофту, влезла в повседневные туфли, и, несмотря на свою неповоротливость, почти выбежала из квартиры, в сердцах громко хлопнув массивной металлической дверью, похожей на дверь банковского сейфа.

– Однако в магазин собралась, Павловна? – спросила соседка, открывая почтовый ящик.

Светлана Павловна взглянула на неё с недоумением.

– Да нет. Так просто, прогуляться...

– А, вечерний моцион, тоже надо иногда. Не всё дома сидеть.

И, провожая взглядом быстро и неуверенно спускающуюся по лестнице Павловну, подумала с назидательной интонацией: «За мужем как за каменной стеной весь век прожила, всегда только при полном параде на улицу ходила, а теперь помер Михалыч, и бегают простоволосая. Однако немного не в себе, будто укусил её кто. Охо-хо-хохонюшки, трудно жить без Афонюшки! Говорила ей, – гляди, останешься одна, тогда поймёшь и меня, одинокую, – всё не верила, смеялась. Теперь вот поди-ка посмейся!».

Позднее она будет неоднократно описывать милиционерам этот последний раз, когда видела соседку перед её таинственным исчезновением, припоминая всё новые и новые детали. То трагическое выражение глаз, то просто глаза с «сумасшедшинкой», то

уже совсем безумные глаза и опухшее красное лицо: «Не собака ли её бешеная укусила, случаем?».

Действительно, давление поднималось ощутимо, голова будто раздувалась от встречного ветра.

Светлана Павловна собиралась купить билет до Новосибирска на завтра, не торопясь вечером собраться, и утром засветло, по холодку выехать, но когда в кассе автовокзала оказался билет на ближайший рейс, кто-то будто подтолкнул под локоть.

Торопливо сунула за стекло в окошечко деньги, и скоро уже сидела в салоне междугороднего автобуса, прижимая к объёмистому животу сумочку, в которой не оказалось ни расчёски, ни носового платка, вообще ничего, кроме небольшой суммы денег, сосредоточенно вглядываясь прямо перед собой напряжённо пристальным взглядом, будто там не старенький, болтающийся чехол икарусовского кресла, а по меньшей мере всё её будущее, вся последующая жизнь-судьба, вплоть до самой последней черты. В салоне пахло бензином. От головной боли ломило виски.

«Приеду, найду, надаю по толстой роже и вернусь», – решила Светлана Павловна, сжимая пальцами замок сумочки.

Попутчица сдвинула в сторону пыльную плотную штору и, приглашая к знакомству, поинтересовалась:

– Так во сколько прибываем в Новосибирск? – хотя прекрасно знала время движения автобуса и даже расписание остановок с точностью до минуты, однако надо же с чего-то начинать разговор.

– А? Не знаю, – отвечала Светлана Павловна безучастным ко всему окружающему голосом, явно не собираясь выбираться из задумчивого оупения.

«Всё ясно, милочка, – подумала соседка, – с тобой каши не сварить».

Странная особа нормального пенсионного возраста сидела сжавшись, глядя в одну точку. Когда переднее кресло поехало в лежачее положение и прижало ей ноги, она даже не поморщилась, немного отодвинулась и только, вперив глаза в ту же точку, на месте которой теперь располагалась плешь отошедшего ко сну пассажира.

«Почему такое могло случиться? С чего вдруг? Ладно бы в сорок лет муж взбеленился – это ещё можно как-то понять. В банке полным-полно незамужних сослуживиц, но ничего, спокойно всё обошлось, без опозданий, «заседаний», хотя некоторые, намучившись со своими мужьями, и ей предрекали весёленькую жизнь: «Подожди-подожди, вот соскочит твой с поводка, тогда узнаешь!». Работы у него прежде больше было, что ли? Некогда увлечениям предаваться? Не зря говорят, что два критических возраста мужских – сорок лет и шестьдесят. Первый барьер прошёл удачно, так на втором спотыкнулся, старый коняга. Ладно, дай срок, голубчик! Найду – уж мало не покажется! Уже пропишу ижицу по всем правилам чистописания, не посмотрю на окружающих!»

После выхода на пенсию Михал Михалыч сильно сдал сердцем и печению, а особенно плохо дело обстояло с зубами. Никак не время затевать любовь. Светлана Павловна вспомнила его сидящим на диване после двухмесячной эпопеи с удалением, лечением, и постановкой новых мостов. Вид у Миши был неважнецкий, хоть храбрился-хорохорился, и несмотря на красивые новые зубы улыбочка выходила жалостная, не во весь рот, как прежде. Так себе, одним словом. К тому же стал он пришепётывать и очень стеснялся этого, как человек, всю жизнь обладавший отличной дикцией, долго не мог приспособиться и к новому прикусу. Это было весной, а летом, когда резко пошёл на поправку, вдруг, ни с того ни с сего, взял и умер... Или всё-таки не умер, а сбежал от неё?

Мог ли в таком состоянии затеять роман на стороне в шестьдесят два года, если до того ни разу в подобном замечен не был, или она такая домашняя курица, что вообще в жизни ничего не понимает? Или что-то случилось в охотничьем домике, где Миша пропадал и весну, и лето, занятый новыми проектами по обновлению хозяйства?

Светлана Павловна задумалась так глубоко, что со стороны казалось, будто она уже заснула с открытыми глазами.

Автобус с рёвом нёсся по бетонке. Соседка рядом ёрзала, укладываясь спать. Не находила подходящего положения.

Вот все на похоронах говорили, что Михал Михалыч был редкой души человек, что, де, в нём удачно сочеталось редкостное благодушие с самой энергичной деятельностью. Что он был из тех людей, которые всегда рады расстараться для окружающих в большом и малом, как для себя самого.

А она помнит Мишу толстячком роста ниже среднего, с большой лысой головой, круглым розовым лицом без единой морщинки, голубоватыми умными глазами слегка навывкат и обаятельнейшей солнечной улыбкой, заприметя которую все женщины без исключения начинали кокетничать, каждая в меру личных способностей, то есть старались выглядеть чуточку лучше, чем есть на самом деле, чуть-чуть красивее, чуть грациознее, чуть изящней, чуть легкомысленней и чуть добрее. И это при всех тех очевидных фактах, что у него в кармане пиджака топорщится объёмистая кипа таблеток, что он примерный семьянин, налево за всю жизнь ни разу не петлял, не его это, не его – видно с первого взгляда, и, кстати, много лет служил в ревизионном отделе банка. А ревизоров, как и зубных врачей, кто любит?

Суровая правда жизни в том состоит, что ревизоров никто не любит, даже если они порядочные люди. Работа у них такая, не располагающая к любви и дружбе. В банке «ревизионисты» даже зарплату отдельно от прочего коллектива получают, напрямую из Москвы, для полной своей финансовой независимости. И то: выискивать ошибки в работе человека, с которым подчас сидишь в одной комнате, за соседним столом, находить, выписывать их аккуратненько, систематизировать, составлять отчёт, на основании которого беднягу лишают месячной премии процентов на двадцать-тридцать, а то и вовсе без ничего оставляют, а то и уволят. Смотря какого размера ошибочку выловит из кипы старых папок ревизор, надзорное око в сатиновых нарукавниках. Неприятная работа для нормального человека.

А его любили в коллективе.

На службу Миша уходил пораньше и прибегал всегда первым, минут за двадцать до начала рабочего дня. И сразу развивал бурную деятельность: расставлял после уборщицы стулья, заваривал свежий чай, нарезал с заботливой радостью лимончик, шоколадку ломал на кусочки, тут и народ уже начинает подходить с отморозенными щеками и носами.

Михалыч по-отечески ухаживал за озябшими, разливал чай и кофе, говорил простые приятные слова, называя «девочками» всех особ женского пола без скидок на возраст, расспрашивал про деток, племянников и внучат, потому что знал: пока «девочка» не расскажет коллективу свои беды, работы от неё не жди. Характер у него дотошный, бухгалтерский, всё ему интересно знать – что, где, почём. Для экстренных случаев имел под рукой успокоительное, а также средства от сердцебиения, кашля, головной боли, от простуды, насморка, давления, одним словом, очень обширная аптечка хранилась в его столе, а также в карманах пиджака, на все случаи жизни.

Мог ли он уйти от неё? Светлана Павловна только моргала во мраке. В салоне отключили свет.

Как же он здесь устроился, в Новосибирске? Аферист.

Автобус въехал на городские узкие улицы, и теперь двигался много медленнее, часто останавливаясь на светофорах. Ну и пусть. И слава богу, что живой. Светлана Павловна энергично кивнула. Пусть. Пусть живёт, если хочет, в Новосибирске, главное, живой. Она рада. Это хорошо, что Миша живёт здесь, она даже счастлива, если разобраться по существу.

Билет на выставку стоил до неприличия дорого – триста рублей. Денег в сумочке ещё хватило бы на обратный билет, но почему-то не подумала об этом, протянула всю свою наличность в кассу.

Кассирша с некоторым недоверием рассмотрела помятое лицо любительницы прекрасного, затрапезное домашнее платье... И куда такая-то прётся, господи? Чего понимает? Потом жаловаться будет в телекамеру, что пенсии на хлеб не хватает.

Посетителей с утра в зале оказалось немного. Те, что были, неторопливо переходили от скульптуры к скульптуре, подробно и подолгу их разглядывая.

Огромный пустынный зал и кое-где тёмно-красные фигуры, а само огромное помещение – стеклянный ангар в виде светлого, прекрасного цеха будущего мясокомбината из социалистического журнального ролика перед кинофильмом. Тогда любили показывать, как много в стране строится животноводческих ферм и мясокомбинатов, чтобы наконец-то решить извечную колбасную проблему коммунизма. Ещё чуть-чуть потерпеть, и в следующей пятилетке мяса будет – завались.

Только в этом светлом зале туши не на крюках висят, а самостоятельно группируются в команды бегунов, группы людей, фотографирующихся у фонтана, целующихся на улице парочек, дерущихся боксёров. Иные ободранные, без кожи, точно несвеже-красные говяжьи туши, другие почти как живые.

Она сразу его увидела. Действительно, это был он. Без всякого сомнения. Сидел, ярко освещённый пляжным солнцем из прожектора (зонтик не спасал от лучей), загорелый, и улыбался, глядя своими добродушными глазами прямо ей в лицо. Это был Михал Михалыч.

Светлана Павловна бросилась к нему навстречу.

Миша приветливо наблюдал, как жена почти бежит по большой гулкой зале, а новый плиточный пол трещит под её немалым весом.

Уже несколько месяцев сильно болели колени, и, если сказать по-честному, Светлана Павловна не то что бегать, ходить быстро не могла, хорошо, пока обходилась без палочки. А тут бежала, бежала, бежала, пока не налетела на пурпурно-красные бархатные канатики, отгораживающие Михал Михалыча от прочего зала. С обезоруживающим добросердечным радушием муж продолжал молча разглядывать жену, и поневоле опустилась рука, занесённая для удара.

По выходе на пенсию Михалыч без сожаления расстался с ревизорством, будто выполнил долг – и шабаш. Но совсем из банка не ушёл: возглавил охотничий домик, который грозил развалиться. Быстро привёл его в божеский вид, что не стыдно и гостям показать, и самим отдохнуть.

Дабы охотникам не так скучно было бегать с ружьями по пригородному пустому лесу, где даже грибов уже не осталось, не то что зверей, завёл на отшибе несколько клеток с крупными белыми кроликами, по снегу отлично сходившими за зайцев-беляков.

Пока охотники парились в русской бане с каменкой, обсуждая перипетии всегда удачной охоты, повар священнодействовал на кухне – готовил подстреленного «зайца» в винном соусе. На удивление бывалым охотникам заяц в белом вине мясо имел нежное, вкуса просто необыкновенного. Все хвалили повара за умелое пользование старинными рецептами царской кухни времён Ивана Грозного. Разговор за дубовым столом у горящего камелька уходил далеко за полночь. Михалыч на охоту не ходил, а слушал всегда с большим удовольствием, и сам рассказывал удивительные истории, щурясь и улыбаясь своей простецкой улыбкой радушного хозяина.

Тем летом здоровье пошло на поправку, в июле он отправился закрепить результат в Дом отдыха под Новосибирском. Всего на двенадцать дней.

Михалыч обожал знакомиться с новыми людьми на новом месте. И тут в первый же день за обедом подружился с соседом по столику. Вместо часового сна пошли развлекаться, осмотреть окрестности.

Шли рядом по тропке на обочине дороги, когда мимо на огромной скорости пронёсся самосвал, обдав горячим ветром и гарью. Крайним оказался Михалыч. Внезапно приостановился, тихо осел в пыль, держась за сердце. Новый знакомый сбегал до телефона вызвать скорую помощь. Скорая на борт инфарктника приняла ещё в сознании, но по дороге в город он скончался, попав, таким образом, не на больничную койку, а прямоком в морг.

Лицо Михалыча, сидевшего под пляжным зонтом в одних шортах, было направлено на жену, и светилось прежней добросердечной улыбкой в лучах скрытого от публики прожектора, исполнявшего роль солнца. Сюда подходили все посетители, и, постояв несколько минут около этого жизнерадостного бодрого толстячка, явно умеющего жить с удовольствием, начинали тоже непроизвольно улыбаться.

Когда Светлана Павловна не дождалась мужа в положенное время, через двенадцать дней, она начала звонить в Дом отдыха, где ей объяснили, что данный отдыхающий на прогулке упал в обморок, и был увезён каретой «Скорой помощи» в город. Они полагают, что он до сих пор находится в больнице, так как своих вещей не забрал, всё в целости и сохранности лежит в камере хранения, а документы у администрации. Жена может, если желает, получить и то, и другое, если приедет с паспортом, где есть отметка о браке, и напишет заявление.

Поиски оказались недолгими. В службе «Скорой помощи» ей сообщили, что пациент скончался по пути, тело сдано в больничный морг, который вследствие истечения срока хранения (девять дней) и по совершении судебно-медицинской экспертизы произвёл кремацию трупа, так как за ним никто не обратился.

Родственникам и близким предоставляется возможность получить прах с девяти утра до шести часов вечера. Светлана Павловна с недоумением приняла маленькую урну, которую сунули в руки как-то слишком поспешно, не торжественно, а ей и без того не верилось, что это всё, что осталось от Михал Михалыча. Но документы констатировали факт с жестокой неумолимостью. Купила место на кладбище, где захоронили урну, как полагается по обычаю, в могиле, чтобы было куда прийти навестить и поплакать, цветочки поставить.

И вот он сидит теперь перед ней – улыбается.

Светлана Павловна задышала. Где-то далеко вверху, много выше выставочного зала, может быть, даже выше облаков, ей слышалось её же громкое дыхание, будто рокотал проснувшийся вулкан. Закрывает глаза. Дыхание усилилось, загудело громко в ушах близким водопадом. Тело выросло до громадных размеров, сделалось величественным, но шатким сооружением, в котором она ощущала себя очень неудобно. Кругом крошечная темнота, как в покинутом храме, далеко вверху чуть брезжит свет и с горным шумом носится её тяжёлое дыхание.

Маленький испуганный человечек сутился внизу храма, пытаясь предотвратить его обрушение. Когда начинал падать купол-голова, тянул одну из верёвок, что держал в руках, повисал на ней, упирался, с невероятным трудом возвращая голову на законное место, а тут вперёд уходило уже плечо, приходилось срочно тянуть другую верёвку, он метался с этими верёвками, как неумелый звонарь на колокольне. Сражавшимся во мгле человечком был, конечно, Миша, кто ещё такой усердный и старательный – больше никому. «Не удержит, – подумала Светлана Павловна, выдыхая шумные потоки в заоблачные выси, – по всему видно: слишком маленький, а всё старается, бегают, переживает. Всегда был такой».

Маленький человечек внутри огромного храма не смог-таки удержать шаткое сооружение, как ни старался.

Светлана Павловна рухнула лицом вниз к ногам мужа, одетым в красивые пляжные тапочки, на тот самый превосходный морской песок, который, как утверждал создатель выставки доктор Хаггенс в приватной беседе, куплен и завезён прямо с пляжей Адриатики.

Никакой суматохи в результате данного казуса не произошло, всё устроилось без скандала, в лучшем виде, а что пресса сообщила, будто чрезмерно впечатлительная женщина скончалась на выставке достижений нового гуманистического искусства, даже сыграло роль дополнительной бесплатной рекламной акции. Народ повалил так, что ой-ёй-ёй, прямо целыми семьями шли: интересно, с чего там тётка копылки отбросила?

Кстати, о рекламе.

Время идёт, а не стоит вам на одном месте. Откройте любой проспект, и собственными глазами увидите последний писк настоящего семейного отдыха: под разноцветным пляжным зонтом на фоне морской лазури и зелени пальм сидит, поблёскивая лысиной, приятный толстяк с улыбкой в миллион долларов. На соседнем шезлонге расположилась его довольнёхонькая жена, полная тётка в закрытом купальнике, что приветливо щурится на рекламный лозунг: **СЧАСТЛИВЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ! НЕ ЗАВИДУЙТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ! СЕМЕЙНЫЙ ТУР ПРАКТИЧЕСКИ ДАРОМ!**

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАНЬЯКА

Телефон зазвонил в семь утра.

– Вячеслав, возьмите трубку! Я прошу вас, Вячеслав! Неужели нет дома?

Вячеслав открыл глаза и начал определяться. Ноутбук включён, развлекается, гоняя по экрану буковки. Музыкальный центр работает, ибо даже спать он предпочитает под музыку, телефон звонит сразу из двух мест: стереоколонки центра и аппарата на столике. Квартира съёмная, живет здесь с прошлой осени. Вики нет, ушла две недели назад. Проект сдан вчера. Суббота. Выходной. День рождения. Кто бы это мог быть?

– Вячеслав, возьмите трубку, в конце концов, девушка просит!

Славик начал выползать из-под одеяла в сторону телефонного столика. Он решил добраться до него, шагая по полу на руках, оставив ноги ещё немножко отдохнуть на кровати. Снял трубку.

– Здравствуйте, Вячеслав! – облегчённо вскричал очень знакомый женский голос из трубки и отовсюду разом. – Как хорошо, что в это праздничное утро вы оказались у себя дома! Узнали? Да, да, конечно, "Утро именинника"! Сегодня оно наступило для вас! Мы уже знаем, что когда вы программируете, а программируете вы круглые сутки без перерыва, всегда слушаете нашу радиостанцию. Так вот, по случаю вашего дня рождения девушка Виктория передаёт вам свои поздравления и желает счастья только с ней. Кстати, она поделилась секретом, что вы обожаете вставать рано, как истинный жаворонок, поёте сами и любите слушать других, это правда?

– Нет.

– Что ж, бывает и по-другому, а пока получайте, пожалуйста, через программу "Утро именинника" музыкальный привет от нашего радио и девушки Вики.

Я шоколадный заяц,
Я ласковый мерзавец,
Я сладкий на все сто...

Вика отсутствует более двух недель. Прежде таких длительных отлучек с её стороны не допускалось, и Славик полагал, что она ушла всерьёз и навсегда. Выходит, ошибся.

В заключительные, самые напряжённые дни работы над проектом ей вдруг срочно потребовались знаки внимания: они должны обязательно сходить в кино, или кафе, ну хоть погулять, а лучше всего, разумеется, прошвырнуться по магазинам. У неё начались летние каникулы, плюс открылся новый летний сезон. Славик никак не реагировал, отмалчивался, как всегда, сидя в кресле, уставившись в экран и еле заметно поигрывая мышью.

Однако перед видеоконференцией надо было удалить подругу из квартиры хоть на пару часов. Прежде выкручивался весьма простым и действенным способом, давая немного денег на шмотки в виде подарка. Вика обожала совершать промтоварные туры, была готова к ним в любое время дня и ночи, поэтому исчезала мгновенно. И, тем не менее, каждое утро начиналось с нытья, что ей совершенно нечего одеть, все колготки драные.

Кинулся искать по карманам, и так получилось, что не нашёл ни рубля. Доллары были, но светиться перед болтушкой Викой, знавшей о его профессиональной деятельности не более того, что ей полагалось, не хотел.

Для неё Славик – недоучившийся студент, работающий на птичьих правах в какой-то шараге программистом без трудового стажа, соцпакета, медицинской страховки, и при всём при том круглые сутки просиживающий перед компьютером за сущие гроши.

Его внешность напрямую соответствовала образу жизни: невысокого роста лохматый тощий паренёк с тонким носом, глубоко посаженными, неопределённого цвета глазками, в рубаше с длинными рукавами, воротом нараспашку, всегда в одних и тех же простоватых джинсах, похожий на электрика-подмастерье, вечно только-только проснувшегося.

Не найдя денег, предложил в виде исключения разок прошвырнуться по магазинам за собственный счёт, что вызвало бурю негодования. Кричать Вика могла неограниченно долго, время поджимало, пришлось идти на крайние меры.

Славик вытряхнул из валявшейся на столе книжки пятьсот долларов, сунул ей, и с чувством произнёс:

– Вали отсюда, чтобы я тебя больше не видел!

Вика мигом растеряла воинственный задор, пересчитала бумажки:

– Небось, на экскурсию по Золотому Кольцу копил? Бедненький, столько лет лишал себя маленьких радостей! Учти, сдачи не будет, всё истрачу до цента!

Да кто бы сомневался.

Не позволяя в подробностях развить идею грядущих приобретений, вытолкал на площадку, поддав коленом, затворил дверь, включил камеру с микрофоном и вовремя пал на обычное место возле пустой белёной стенки на стул, куда был направлен объектив.

На экране ноутбука всплыл улыбчивый шеф-японец, сидевший в лёгком пляжном кресле на верхней палубе круизного лайнера, за белыми оградительными поручнями которого виднелась полоса морского горизонта. Рядом стояла обязательная доска и большой экран, на котором высвечивались все восемь человек команды. Когда шеф давал кому слово, лицо с номером всплывало в ноутбуке Славика, а обычно можно было видеть всех сразу, так удобнее, когда идёт свободная дискуссия.

Рабочий язык – английский.

К японцу проектанты обращались просто "шеф". Друг к другу по номерам. У него самого шестой номер, говоривший о порядке приоритетов в проекте, и, вероятно, уровне оплаты труда тоже. В принципе Славик был доволен и тем, и другим. Пару лет назад он мог только мечтать попасть в группу разработчиков на уровень ста пятидесяти тысяч баксов в год.

Ему исполнилось двадцать шесть. Из них четыре года вращается в данной системе, и ещё лет десять в запасе есть. У японца Славик поучаствовал в трёх проектах, последний оказался самым горячим, просто непрерывный мозговой шторм по изменению багажных потоков аэропорта Хитроу в свете новых антитеррористических законов.

Кроме него ещё один человек в команде русский, это понятно не столько из акцента, сколько по тому, что фигурировал седьмой на фоне огромной печи в деревенской бревенчатой избе. Номером первым в команде состоял индеец, которого так и подмывало спросить, что за чудо-юдо щерится чёрным ртом из темноты, и каждый раз он с видимым трудом удерживался от этого.

Вика не вернулась вечером, утром следующего дня тоже не пришла. Звонить с извинениями он не стал. Умерла так умерла.

Проект завершили вчера, в пятницу, с индийцем распрощались: он перешёл в другую команду, с остальными шеф подтвердил соглашение на следующий проект, и предоставил двухнедельные каникулы. Счёт Славика пополнился тридцатью тысячами евро.

Теперь у него масса свободного времени, а Вика так и не нарисовалась на горизонте. Да вряд ли придёт. Одно дело самой громогласно, с размаха хлопнуть дверью, и совсем, знаете ли, другое получить коленом под зад из тех же самых дверей.

Они познакомились, когда Славик уже работал на японца.

Как-то в конце зимы посреди жуткой трудовой ночи вдруг ощутил дикий голод, и рванул перекусить в единственное круглосуточное кафе, имевшееся поблизости, там и увидел Вику, сидевшую в одиночестве со стаканом неизвестного напитка. Взял цыплёнка табака, кофе, и, не спросясь, бухнулся к ней за столик, сразу вцепившись зубами в мясо.

Она зашипела:

– Что пристегнулся? Не звала!

Молча, продолжая жевать на ходу, пересел за другой стол. Доел порцию, пошёл заказал ещё. Второго цыплёнка можно поглощать не спеша, в своё удовольствие. Тут к нему Вика и присоединилась, хотя её тоже никто не звал.

– Ну и здоров ты жрать, такой худенький, а лопаешь ого-го!

Он посмотрел ей в глаза и молча улыбнулся.

Днём Вика училась в педагогическом университете на психолога, ежевечерне припахивала стриптизёршей в клубе за десять тысяч в месяц. Этих денег хватало на съём малосемейки и питание. Сейчас заскочила в кафе уже по пути из клуба, спасаясь от назойливого почитателя, желающего провести с ней ночь. Кафе располагалось по соседству с клубом, у Вики здесь работал знакомый охранник. Вызвала женское такси, и дожидалась, когда подъедет.

Приятного разговора не вышло, говорила в основном Вика, он занимался цыплёнком. Ответственно моргал, кивал, с хрустом пережёвывая всё подряд.

Её глаза имели необычное выражение, будто на днях совершила убийство и теперь жаждала покаяться. Священник из Славика никакой, и хорошо, что рот забит, по крайней мере, дал ей сказать всё, что накопилось. Впрочем, ничего особо интересного он не услышал, обычная в принципе жизнь, как у всех.

Вика поведала, что до клуба была страшно скромной девочкой, а эту работу выбрала исключительно из-за денег. Вроде бы и не оправдывалась, так, обиженные нотки проскальзывали в голосе, а на кого и за что обижаться? Техничкой или санитаркой даже и не пыталась наниматься, трата сил и времени огромная, а денег сушие гроши, всё равно ни на что не хватит, смешно даже на работу ходить, не то что там ещё и пол швабрить-хряпаться. Единственно, став стриптизёршей, пришлось перешагнуть через себя: сначала не могла раздеться перед публикой, клинила.

– Хореографию в школьные годы изучала, в ансамбле пела и плясала, грамоты зарабатывала, с этим проблем никаких, а раздеться... только после бокала вина решилась. Девчонки налили и вытолкали на сцену. Ничего, разделась кое-как. И до сих пор перед началом жажну красненького – и вперёд!

Вика оказалась взбалмошной особой, они прожили вместе почти четыре месяца. Потом она громогласно ушла, затем вернулась по-новой, и так взяла за правило: то уходить, хлопая дверью на весь подъезд, то приходить и устраивать праздничный вечер со свечами.

Праздник устраивался на кухне, где Вячеслав появлялся крайне редко, живя в кресле у рабочего стола с ноутбуком и питаясь здесь же. Торжественный ужин по поводу встречи оплачивал он, это составляло пятьсот рублей, иногда чуть больше: Вика заказывала по телефону необходимые ингредиенты: две пиццы, бутылку вина, коробку конфет, или вместо пицц одну курицу-гриль.

Раздеваться она любила в его комнате. Славик заметил, что и дома красивое раздевание случалось тоже всегда только после бокала вина. Иногда она делала это очень быстро, глазом не успеешь моргнуть, а иногда невыносимо медленно.

Однажды, вернувшись после очередного расставания, устроила киндерсюрприз, разделась прямо на площадке перед дверью. Конечно, на пятом этаже посторонние шляются не часто, а всё равно чуть не задохнулся, когда открыл дверь, а она вот – лежит на полу, постелив свой плащик, в туфлях, макияже, и улыбается. Оказывается, так и пришла в одном плаще, и прожила целую неделю. Но ничего, сходили в магазин, купили халат и платье. А выпила ли до того на площадке, остаётся под вопросом. Спрашивать не стал, ещё обидится и уйдёт.

Вика говорила, что снимает квартиру одна, платит пять с половиной тысяч в месяц. Вячеслав предложил перейти жить к нему, мол, и деньги на этом приличные сэкономятся, и вообще... однако Вика решительно отказалась по той простой причине, что в случае чего ей тогда некуда будет от него уйти, хлопнув дверью. Возможно, полагала, что сожитель потребует совместно оплачивать квартиру или участвовать в прочих хозяйственных расходах.

Нет – так нет, Славик пожал плечами и больше на данную тему не заговаривал. А за квартиру, кстати, уплачено на год вперёд, причём в двойном размере, чтобы голова не болела. И хрущёвку затрапезную выбрал лишь потому, что сам вырос в такой же, чувствовал себя здесь как рыба в воде. Для работы ведь самое главное – чтобы не замечать ничего вокруг, не отвлекаться на ерунду. А мог бы запросто снять и коттедж, и купить мог, но для чего привлекать лишнее внимание? Глупо. Здесь хозяйка с него даже паспорта не спросила, так обрадовалась оплате, что не появлялась ни разу. Приходит, квитки забирает из почтового ящика за коммунальные услуги, и не слышно её и не видно.

Куда бы рвануть? В Мексику или на Бали? Прямо сегодня? Нет, с утра не получится: сначала постричься... потом на двенадцать талончик к зубному... и ещё... день рождения. Или плюнуть на все мероприятия, взять да улететь в Турцию? Там и постричься. Наголо, под Зидана. А Мексика с кактусами?

Ничего не решив, начал действовать по заранее разработанному дневному плану, то есть неспешно позавтракал в том же круглосуточном кафе, откуда направился прямым ходом в ближайший салон красоты, где попал в кресло молоденькой и уже весьма упитанной парикмахерши в синем коротком халатике почти без рукавов.

Кресло располагалось в соседстве с раскрытым окном, штора из того же синего невесомого шёлка парусила в потоках воздуха.

Мастерица взмахнула огромной синей накидкой, парашютом накрывшей Вячеслава, закутала с горла до ног. Он сжался, предчувствуя обычные болезненные процедуры, сделался меньше, чем был на самом деле, а в комплекте с парикмахершей, вставшей позади кресла и разглядывающей его шевелюру, оба превратились в единую синюю кенгуру, отягощённую огромной сумкой-животом, из которой торчала остроносая, вихрастая маленькая голова с вытарщенными глазами.

Рвануть, что ли, в Австралию?

Славик буркнул: "Модельная, коротко, но не слишком", и впился подозрительно в зеркало, предчувствуя, что его сейчас опять оболванят, а он снова не ухватит то единственно верное мгновение, когда надо крикнуть: всё, достаточно, спасибо! Если же не сказать, то будет вроде бы ничего-ничего, а когда потом встанешь, то поздно возмущаться. Эта упитанная девица наверняка дёргать начнёт, и почему они все дерут волосы, да при этом ещё весело треплются друг с другом?

Парикмахерша запорхала вокруг ярко-синей бабочкой, почти не касаясь головы. Трепетно щёлкающие ножницы, казалось, рассекали исключительно окружающий воздух. «Слава богу, не дерёт, наконец-то мастерица попалась. Узнать, как зовут, ходить только к ней!» – Славик обрадовался: повезло в день рождения, и расслабился.

Стрижка стоит сто двадцать. Если нормально пострижёт, он добавит ещё сто рэ на чай. Профессиональный труд должен поощряться, профессионалов в любом деле Славик любил, сам такой. И приготовился возлюбить парикмахершу тоже.

За волосы мастерица действительно не дёргала, стригла легко, неощутимо, только вот налитые ручки оказались до такой степени короткими, что небольшие откровенные груди, голые локотки, – всё это поселилось жить непосредственно у носа клиента. И забывчивая. Так отдаётся любимому парикмахерскому делу, что всё про себя забывает: прижмётся горячим бедром к колену и стоит целую минуту, вроде по производственной необходимости, посмотрит-посмотрит на лицо, обежит вокруг, затрещит ножницами, и – тык, в другое колено упрётся. Вся в работе, трудится не щадя живота своего, стиль такой.

А на вид сначала обыкновенной показалась, неинтересной, но мало-помалу Славик понял, что ошибся, посчитав её заурядной толстушкой. Нет, тело феноменальной притягательности, замечательно крепко стиснутое объятиями ультрамаринового шёлка. Рука от запястья до подмышки тоже необыкновенно гладкая, и под мелодичное пощёлкивание ножниц предплечье, такое близкое и доступное, начинает сотрясаться единым целым мелко-мелко. Отчего туго перетянутое накидкой горло Славика рефлекторно совершает одно за другим глотательные движения, несмотря на непреходящую сухость во рту.

Вовсе не бабочка перед ним порхает, а единственная в своём роде крепенькая синичка, быстрая, сильная, прилетевшая в сад, где висел на ветке специально для неё на нитке кусочек сала, прицепилась острыми коготками – и давай обрабатывать со всех сторон!

Гладкая и голая. Если без халатика. И в халатике шёлковым всё равно гладкая и... голая. Ей даже раздеваться не надо, так всё видно. Наверное, незамужняя. А может, и живёт с кем. Невинная девчонка не стала бы запросто напирать на ногу клиента даже из соображений устойчивости. Или могла? Сейчас он не в состоянии решить данный вопрос: голова слегка помутилась от близости. Или перед близостью? Она его клеит? А может, это редкий профессиональный стиль, обусловленный недостаточной длиной рук?

Клеиться он не будет.

Почему? Вика же ушла, всё.

Нет, дело в том, что лицо, разглядывающее сверху, этакое... неподходящее, одним словом, не в его вкусе, но оголённое предплечье слишком близко подрагивает сразу всей массой, ядрёным студнем, и дурманящий аромат близкой женской плоти не могут перебить ни конфетный запах салона, ни порывы воздуха, влетающие через окно.

Чтобы не видеть, он зажмурился.

Парикмахерша встала сзади, оттянула воротник, начала подравнивать волосы на шее машинкой, касаясь холодными пальцами горячей кожи.

Почему у них всегда холодные руки? Славик опасался, что шея покроется гусиной кожей, по которой парикмахерша легко поймёт, как бурно клиент реагирует на её прикосновения. Неприятно, когда тебя понимают. Стараясь не слишком двигать кадыком, осторожно сглотнул. Повязка, которой перетянуто горло, предательски приподнялась и опустилась. С накидки осыпались стриженные волосы.

Парикмахерша вновь запорхала резкой, безукоризненно точной в своих неуловимых движениях синичкой.

Затаилась сбоку, нагнулась ближе, проводя ещё более холодным, чем пальцы, опасным металлом ножниц, указательным пальцем осторожно оттопырила ухо. Касаясь его ногтем, провела холодную щёлкающую линию до виска: чик-чик, и ещё чик! Сама замерла, не дышит даже близко-близко, и он замер, как в первое мгновение соития. Терпит. Ещё ведь и второе ухо сейчас согнёт! Жарко как, жарко, ветерок бы хоть дунул, что ли, свеженький, охладил распалённого Славика.

Будто на заказ шторка вздулась парусом, в точности приобретающая выпуклую форму груди парикмахерши.

Мягкий нажим на затылок – команда наклонить голову вперёд, двумя пальцами о виски – обратное движение, одним сбоку – склонить, команды следуют одна за другой и выполняются его головой, ставшей подвластной парикмахерше, беспрекословно, как тело наложницы приказам господина. Что вызывает внутренний протест.

Теперь принялась ровнять волосы спереди, крепко прижавшись обеими коленками, ведя медленно-медленно: чик-чик-чик-чик-чик!

Славик тоже почти не дышит, зажмурился. Темно и жарко, очень жарко, рубашка мокрая, хоть выжимай. Мягкой кисточкой смахнула остриженные волосы со вспотевшего лба, прошла по щекам, подбородку, сзади оттянула воротник сильно, будто удавку набросила, и быстро-быстро, щекотно – по шее.

Подошла спереди, глянула и осталась недовольной. Защёлкала сверху по левому полушарию, прямо по мозгу. Правое ответно пыхнуло. Он старался не видеть гладкого бедра, которое подробно обтянул синий халатик. Наэлектризовался? От него? "Уж лучше бы драла волосы и болтала с другими парикмахершами", – пожалел запоздало.

Указательным пальцем приподняла подбородок, кисточкой снова обмахнула всё лицо, провела по шее. Сняла повязку, накидка убрана.

– Пожалуйста.

– Спасибо.

Не глядя в зеркало, развернулся и откровенным жадным взглядом обшарил всю её туго обтянутую шёлковую фигуру, положил на столик сто рублей, ещё раз сказал "большое спасибо", она снова: "пожалуйста", в медленной задумчивости степенно прошагал к администратору, там уплатил за стрижку, взял пластиковую ручку двери, открыть не смог, обернулся.

Парикмахерша сметала щёткой многочисленные клочки волос, густо усеявшие пол. На него не обращала внимания.

"Как барашка остригла, – подумал он, ненавидя свою столь легко и скоро возникшую физическую привязанность, – как барашка! И ведь понимаю, а сделать ничего не могу, вот чёрт!"

Вышел на свежий воздух, потоптался на маленьком крыльце, борясь с желанием вернуться обратно в салон, попросить, чтобы и побрили заодно.

Шагнул с крылечка вниз, но далеко уйти не удалось, какие-то необыкновенные силы, растягиваясь резиновыми гужами, волокли обратно, и чем дальше отходил, тем сильнее тянуло назад. Сел на скамейку, вцепившись в неё ногами и руками, попробовал думать.

Теперь он её раб, прикован нерасторжимо, посажен на цепь. Она ему нужна немедленно, такое жуткое ощущение, что невозможно терпеть. Он лишён свободы, жаждет и ненавидит её за это. Единственный выход – сорваться с проклятой звериной цепи, чтобы обрести утерянную свободу и снова стать человеком.

Или компромисс возможен? Если сейчас вернуться да предложить парикмахерше поехать с ним отдохнуть на Бали прямо сегодня, на полгода, она согласится?

Кольца на руке нет, значит, не замужем или не сильно замужем.

Разве не всё равно, где программировать: в хрущёвке чужого города, куда приехал просто для ознакомления с родной страной и где доживёт год, а потом переедет в следующую область, или на жарком тропическом острове, но в прохладе номера отеля с кондиционером? Нет, он слишком ненавидит её за то, что она только что с ним сотворила, чтобы жить вместе.

Сидел, сверяясь с часами, терпя до последней минуты, когда можно ещё не опоздать к стоматологу. Под конец достал из кармана монетку. Орёл – идти приглашать на Бали, а если не согласится, то... что-то делать, решка – топтать к зубному врачу. Выпал спасительный зубной, который задаст ему сейчас такого жару, что не до парикмахерши станет. Перед глазами всё померкло от горя расставания. Он встал и осторожно зашаркал к автобусной остановке, пребывая в полной темноте.

– Так, у вас лечение, – сказала женщина небольшого роста, в голубоватом халате и голубоватых операционных штанах, голубоватой же шапочке. – Откроем ротик. С укольчиком? Аллергии нет?

Славик лежал на длинном стоматологическом кресле, в глаза светила лампа.

– Конечно, с уколом. Нет, нету.

– Работа с импортной пломбой обойдётся в две двести, с нашей – тысяча семьсот рублей.

– Делайте с импортной.

Когда обезболивание состоялось, врач с сестрой взяли за него на пару, с двух сторон. Стоматолог диктовала всякие страшные слова, от которых в венах стыла кровь, а медсестра записывала в карточку, лишь изредка уточняя самые-самые гадости.

Надев на лицо пластиковое забрало, врач принялась пилить зуб, не больно, но противно, а сестра, разодрав ему рот, вставила шланг, и в одном режиме прыскала охлаждающей струёй воды, в другом отсасывала накрошившийся жидкий мусор.

Затем медсестра убежала по своим делам, врач осталась одна. Шланг с водой теперь придерживал Славик, врач управлялась одна за двоих, как многостаночница советских времён. Конечно, ей было неудобно. Пришлось локтем левой руки упереться в предплечье пациента, другим в его грудную клетку, а самой возлечь сверху так плотно, что Славику трудно стало дышать, но он терпел и держал шланг.

– Не больно?

– Нет.

Она снова налегла. Включила свой бур, фонтан белой жидкости ударил ей прямо в лицо, защищённое маской. «Предусмотрительная какая, – восхитился Славик, – профи. Но работка ужасная. Ни за что бы не согласился таким делом заниматься, лучше бутылки собирать по мусоркам. Однако необходимая». Он терпел и терпел. Она пилила и пилила, конца тому дуслу не было видно. Уже и неприятно, и больно. Иногда казалось, что врачиха сошла с ума от своей работы, пилит буром прямо в челюсть, не зря кровь струйками прыскает на маску.

Наконец дала немного отдохнуть, сменила иглу в своём станке, попросила открыть рот и, примерясь, снова прилегла на него. Бур завизжал в зубе, Славик закрыл глаза.

Сквозь рубашку и халат он чувствовал, как по его твёрдой грудной клетке расплющилась её мягкая правая грудь. Раньше стоматолог лежала так же, но было как-то не до того, теперь он ощутил её расплющенное тело, и даже удивился: бедная ты моя, да как тебе не больно? И на какие жертвы приходится идти врачу из-за сбежавшей медсестры, тискаться о чужого мужика-пациента буквально за гроши, хотя зарабатывает она, конечно, побольше парикмахерши. А всё равно по сравнению с ним – сущие гроши.

Открыл глаза. Под глухо надвинутой маской лица не видно, одни упрямо стиснутые тонкие губы снизу. Снова отдался чувствованию. И ведь не просто раздавила свою грудь в блин, ведь ещё при этом использует её для перемещения по нему. Надо немного ближе инструмент сунуть... о-о-о! на груди, как на воздушной подушке, перекатилась. И вправо, и влево. Небольшие, микроскопические перекачивания осуществляет за счёт своего нежного женского организма. Нет, это настоящий профи. Все силы, все возможности отдаёт работе, старается человек, чего говорить. И ему необходимо дотерпеть до конца, долго ли, коротко, допилит, запломбирует, и полетит он сегодня же отсюда, куда только будет горящая турпутевка: хоть на Бали, хоть к чёрту в пекло, но с одним-единственным условием – подальше!

И вдруг его как бы по-новой осенило: это не средство передвижения по рёбрам катается, а женская грудь соединилась с ним! Принцесса на горошине! Так прижалась, как никто никогда прежде! Просто с невыразимой силой чувств, очень-очень приятно и страшно, невыносимо больно тоже. Куда она воткнула? Боже, какая боль, Аргентина – Ямайка, пять – ноль!

Из глаза сама собой выкатилась слеза.

Бур перестал гудеть.

Стоматолог сняла маску. На вид ей лет тридцать пять. До этого Славик ни разу не посмотрел в лицо врачихи, не боялся, а просто не глядел и всё тут, чего глядеть... ещё рассердится, а теперь разглядывал, и с жадностью. Глаза оказались чёрными, блестят как маслины в вине, кожа... желтоватая, но ещё не увядает, нет, очень приятное лицо. Для него лично даже красивое. Теперь.

– Ну вот, довела мужчину до слёз, – сказала врач с задумчивым сожалением, – и вроде не должно обезболивание пройти, рано. Ещё укол поставить? Делать всего ничего осталось.

– Нет, продолжайте.

Женщина вздохнула, надела маску. Они вновь крепко-накрепко соединились.

Боль осталась контрастным основным фоном, благодаря которому тайное постороннее наслаждение увеличилось стократно, и превзошло страдание по силе воздействия. Не надо больше замораживать, делайте своё благородное дело, продолжайте, нам чудесно.

Потом она готовила цемент, и когда замазывала дупло, прилегла только слегка, чуть коснулась мягким содержимым, как бы прощаясь. Славик чуть не растрогался до слёз.

– Вставайте понемногу, голова не кружится?

– Нет.

– Здесь присядьте, снимите бахилы.

И ушла!!!

С нежной улыбкой на устах он оплатил требуемую сумму, регистратор подумала, что это выходят остатки обезболивающего. А то были остатки неведомых прежде чувств. И уйти сразу тоже оказалось невозможно, присел в холле на банкетку. Его не отпускало. Будто догадываясь о том, из глубины кабинетов вышла в смешном голубом одеянии инопланетянки его женщина-стоматолог, молча села рядом. Нога к ноге. Поверх положила большой рекламный альбом, и начала подробно объяснять, какие у них в заведении ещё есть процедуры за умеренную плату, которые ему желательно было бы пройти.

Славик слушал онемело. Неотрывно смотрел сверху вниз мимо альбома на голубой халат, то его место, под которым пряталась правая грудь, которая могла делать с ним (вкупе со сверлом, разумеется) совершенно умопомрачительные вещи.

За время, пока она листала альбом, благодатное место боли-желания заняло мстительное чувство желания-ненависти, и вслед ему захотелось бросить инопланетянку на то же самое кресло, сорвать голубые одежды и сотворить нечто ужасное, подобное тому, что только что творила она.

Выпилить, выдробить, вырезать, выдавить из неё слезы, стоны, и одновременно с этим долго и страстно любить. А потом невыносимо жалеть. Прижать к себе и не давать умереть, терзая в объятиях, пусть поймёт, насладится, как жутко приятно страдать и мучиться в руках нежного садиста!

В общем и целом чёрт знает что за чувства обуревали отмерзающего Славика. Кратко поблагодарив врача, кинулся к двери и без малейшей задержки выскочил вон. Бежать. Бежать отсюда как можно дальше. Хорошо, что проект сдан, ой как хорошо! Он свободен и убежит очень далеко: в прерии, саванны, Тибет, на Мадагаскар. Лучше всего, конечно же, в Мексику. Там нет стоматологов, жизнь течёт простая: одни колючие кактусы и сладкая текила. Хорошо бы нажраться по-чёрному той текилы до такой степени, чтобы всё навсегда забыть о своей прежней жизни, потерять память, как нередко случается с героями мексиканских сериалов!

Меж тем день пребывал в полном разгаре. Часа три, или около того. Дороги переполнены фырчащими стадами разномастных иномарок, тротуары сотнями прохожих, среди которых женщины явно преобладают: они высыпали на субботний забег по

магазинам. Молодой человек с внешностью электрика-подмастерья влился в плотный поток и заспешил куда-то вместе со всеми прочими торопливыми телами.

По жаркой погоде большинство гуляющих одето чрезвычайно легкомысленно, будто вокруг бразилианский карнавал откровенной плоти.

Ему почему-то не хотелось видеть оголённых тел, наверное, из-за зуба, который вдруг сильно занял напоминанием и угрозой, пришлось выбрать для обзора толстую фигуру в чёрном платье, ведущую за руку мальчика. Мамаша с ребёнком – вот она, долгожданная идиллическая картина, бесконечно дорогая сердцу всякого цивилизованного человека.

Он шёл и смотрел.

Чёрное траурное платье с большим вырезом на боку, в котором всё время слишком сильно обнажается белая нога. Не мелькает чуть-чуть, привлекая ленивое мужское внимание, а натурально вываливается, ровно мясо из кошёлки, и молодая полная женщина лет тридцати будто запинаясь при этом, жутко смущаясь. Ещё, наверное, и кучу денег с неё содрали в ателье, уверяя в сверхмодности наряда, а всучили дрянь, натуральный брак, но уверяли при этом слащавыми голосами, что смотрится хорошо, очень хорошо, а на улице в дневном освещении – так просто залюбуешься! Теперь-то несчастная понимает, что её надули самым наглым образом. Вон как покраснела, борясь с вырезом, который при малейшем движении оголяет всю её толстенную незагорелую ногу целиком и полностью, сверху донизу. Выставляет напоказ, будто фальшивый окорок на витрине бакалеи-гастрономии.

Раньше надо было думать, милочка, на примерке. И с весом давно пора бороться.

А впрочем, нет, враньё, покраснелась она исключительно из-за жары, а так идёт довольно бойко, даже гордо щеголяет своей здоровенной ножищей на фоне прочей траурности наряда. Он шёл следом, смотрел, молча возмущался: и как человек не понимает?

Самое ужасное заключалось в том, что, демонстрируя окружающим свою великанью ножищу, она в то же самое время за руку ребёнка тащит, мальчика лет шести, не в мамашу худенького, в сером костюмчике.

«Зачем? – недоумевал Славик. – Зачем тебе это надо? К чему вдруг нога напоказ? Сама прекрасно знаешь, что при излишней полноте смотришься глупейшим образом в платье с разрезом. С такой фигурой и такой разрез, с ума сошла?»

Но самое-самое ужасное совсем даже не в ней заключается, а в нём! Что идёт следом, уставившись в этот дурацкий вырез, ждёт мига, когда появится нога: икра, колено, потом всё огромное бедро обнажится, и чем больше ругается при этом, тем более заинтересованно наблюдает, запутываясь взглядом в чёрном платье, как в сети.

Ему поставили ловушку, и он попался, не успев сообразить отчего. С ней как раз всё совершенно ясно, она хочет, чтобы он захотел её, сделался самцом, обычным зверем, и бежал за ней безостановочно хоть на край света

Неожиданно все трое оказались в магазине игрушек. Женщина с ребёнком выбирали машинку, он стоял рядом и дышал. Продавщица начала что-то советовать ему, приняв за сопровождающего.

Ощувив близкое присутствие постороннего, неизвестная в трауре крепче сжала сумочку с кошельком, но, ещё раз глянув и убедившись, что внимание незнакомца приковано к разрезу на платье, тотчас успокоилась, приобретя ещё более величественный вид. В магазине шумели кондиционеры, было прохладно. Он надеялся, что жар из головы схлынет и всё обойдётся. Удивительно, что зуб стих, заморозка давно кончилась, надорванные края губ ощутимо ныли. Потом они вышли на улицу, прямо к автобусной остановке.

Славик стоял в непосредственной близости, недоумевая: зачем она ведёт ребёнка, если вздумала привлечь его? Если бы ребёнка не было, он смог бы заговорить, хотя нет, говорить Славик уже не в состоянии, а тем более уговаривать.

Женщина решительным движением вбросила мальчика в битком набитый автобус, встала на вторую ступеньку, он следом за её ногой успел запрыгнуть на нижнюю, дверь стукнула ручкой по спине. Нос вдавился в её спину и хрустнул. Тело под платьем оказалось горячим и липким, оно приторно пахло духами. Отворотил нос в сторону, прижался щекой.

Автобус то и дело резко притормаживал, народ швыряло из стороны в сторону. Одной рукой женщина держала где-то впереди себя мальчика, другую подняла вверх, пытаясь схватить выступ над дверью. Славик крепко обнимал её за обширную талию, тянул к себе и прижимался сам. Она некоторое время ещё пыталась отдалиться, но после очередного рывка автобуса вдруг вся разом навалилась на него сверху, легла, припечатав насмерть к двери. Для Славика такое счастье оказалось полной неожиданностью, он обмяк, распятый на дверной ручке.

Раздавлив центнером массы, она делала благое дело – уничтожала, умерщвляла зверя, которого недавно создала одной левой и который даже в полубездыханном состоянии продолжал цепляться за могучие бёдра.

К счастью, дверь открылась, сошло множество народу, Славик с женщиной тоже. Зверь мигом воскрес. Он пропах её духами, сделался липким. Через футбольное поле направились к панельной девятиэтажке. Шёл след в след и думал, что если бы не мальчик, непременно набросился на неё вон у тех гаражей, заросших густыми клёнами, и утащил в заросли за белую ногу.

Когда женщина с ребёнком бросились к подъезду, неохотно приостановился, всё ещё кровожадно следя за крепкой белой ногой, легко несущей обширное молодое тело в пространстве, как будто незаконно забирают честно обещанное.

На обратном пути очень торопился, боялся не успеть. Субботний день короток. Успел, но ему не повезло. Или наоборот, повезло, с какой стороны смотреть.

Несколько мужчин и женщин выходили из дверей стоматологического заведения. Среди них его врачаха, Славик мгновенно высмотрел её и сжал кулаки. Они расселись по машинам и уехали, он проводил их мутным взором. Эта достала его больше всех, она должна была ответить по полной программе, жаль, что ускользнула. Очень жаль.

Салон красоты работал дольше стоматологии ровно на час.

Коротая время, облюбовал скамеечку подальше, откуда неотрывно разглядывал входную дверь, как кот мышиную норку. Приходили и уходили клиенты, Славик терпеливо ждал. Ровно в час закрытия из дверей выскочили четыре девицы. Он насторожился, рассмотрел среди них утрешнюю парикмахершу: с неё всё началось, ею, видно, и кончится. Встал, приготовившись к долгому кропотливому преследованию, но странное дело: три человека пошли в одну сторону, а одна, та, которая ему нужна для прекращения безумия, в другую, причём в его направлении. Он опустился на место, склонил голову, затаился. Удача сама бежала в руки.

Но уж прямо-то в руки не бывает.

Процокала каблучками мимо, не обращая внимания, но вдруг развернулась и спросила:

– Кого ждёшь?

– Тебя.

– Я давно заметила, ты здесь уже с час торчишь, правда?

– Правда. Садись, посидим.

Парикмахерша охотно присела. Он сразу обнял, крепко прижал к себе ненавистное тело, обладавшее непомерной властью над его существом. Она не сопротивлялась. Без синего халатика выглядит немного другой. С такой он может разговаривать, не то что с прежней, но думалось медленно, пока выбирал, куда её пригласить, в кино или кафе, она начала первая:

– Утром был хмурый, когда стригла, бука буклой, а сейчас ничего, улыбаешься.

– Да, – подтвердил Славик, – настроения не было. С девушкой поссорился, пару недель назад расстались. А у меня день рождения сегодня, двадцать шесть стукнуло. С тобой хочу отпраздновать. Давай?

– А родственников нет, что ли?

– С ними тоже в ссоре.

– Какой сердитый. Один живёшь?

– Нет, с родственниками.

– Врёшь ведь, с женой, поди, и детьми. Ладно, не оправдывайся, поехали ко мне. Только купи вина и фруктов, будем праздновать твой день рождения.

Парикмахерша встала, Славик посмотрел на её туго обтянутые бёдра очень сердито. На базарчике купил всё, что требовалось, она не ходила с ним по рядам, ждала на выходе.

У себя в комнате общежития парикмахерша принялась нарезать буженину красивыми пластиками и раскладывать по тарелке. Славик стоял сзади, крепко обняв за талию, и думал, что теперь всё удачно получается. Никто его с ней вместе не заметил ни в доме, ни возле подъезда. Можно сделать так, что никто не увидит, как он уйдёт. Причём сделать прямо сейчас, пока ненависть чиста и тверда, как ледяная глыба. Мёртвая, она потеряет власть над ним. Он перестанет чувствовать себя посаженным на цепь зверем, обретёт человеческую независимость.

– Ты мне ещё утром понравился, – сказала безымянная парикмахерша, повернув неприятное лицо, – такой молодой, а уже серьёзный. Только тормозной маленько.

Славик старательно улыбнулся.

"Врёшь, – подумал он, – всё врёшь! Утром балдела от безнаказанности, зато сейчас получишь конкретно по заслугам".

В городе он не прописан, паспорт никому не предъявлял, и, значит, как бы здесь и не существует. С ней прежде тоже не пересекались, ни в какой её записной книжке не значится. И ни к чему в комнате пока ещё не притронулся. И притрагиваться не будет. Пора делать дело и уходить. Правда, теперь он ненавидит и хочет её чуть поменьше, чем утром, и гораздо меньше, чем ту, с вырезом, но все равно: освободиться от беспредельной власти может лишь убив. Другого выхода нет.

Поморщился, рассмотрев близко влажную шею с дешёвенькой грубой цепочкой. Оглянулся по сторонам в поисках увесистого предмета. Надо разом, чтобы шлёп и нету.

Парикмахерша, словно почувствовав, обернулась.

– Включи музыку, выбери что-нибудь танцевальное.

Славик направился к магнитоле. "Останутся отпечатки. Ничего, сотру после". Включил и автоматически навёл волну своей привычной радиостанции, утром передавшей ему шоколадного зайца.

Из города сразу уехать на междугороднем автобусе, в кассах паспорт не спрашивают. Хозяйке оставить записку, что убыл в командировку и больше не вернётся, все вещи оставляет в подарок. Она зайдёт в квартиру через несколько месяцев, по окончании срока, и будет очень рада. Взять только ноутбук. А из другого города улететь на Бали, нет, лучше всё-таки в Мексику. Года на три. Вот такой получится шоколадный заяц.

– Чего молчишь, рассказал бы что-нибудь веселенькое, – парикмахерша достала из шкафчика рюмки.

"Раз подарила песню, значит, обязательно придёт сегодня! – вдруг догадался Славик. – Деньги все, конечно, истратила, поэтому разденется и будет лежать на площадке до посинения. А меня-то дома нет!"

Он молча направился к двери.

– Ты куда? Сигарет купи!

Вышел из подъезда, с сожалением вспомнив, что не стёр отпечатки с магнитолы, и бросился бежать.

"Лежит, конечно, лежит там опять..."

Вверх по лестнице на свой пятый этаж скакал бешеным австралийским кенгуру, на четвёртом не выдержал, глянул вверх.

Сверху на него смотрела Вика, но не голая, а совсем наоборот.

В белом летнем лёгком платье, белых туфлях, и при сумочке, тоже белой, с новой причёской. Он и не догадывался, сколько можно всего закупить на китайском рынке за пятьсот долларов. И не знал пока, что в дополнение ко всему под платьем тоже белоснежное бельё. Полный комплект в подарок. Она стояла, облокотившись на перила, смотрела, как он скачет. Задержав дыхание, Славик перешёл на медленный шаг.

– Привет, с днём рождения!

– Привет, спасибо.

Прошёл мимо. Вставил ключ в замочную скважину. Обернулся.

– Слышь, кстати, не хочешь на пару недель смотаться... на Бали?

Вика подумала, что он намекает на истраченные доллары, отшутилась:

– Для начала лучше в Египет.

Открыл дверь.

– Ну, в Египет так в Египет. Заходи.

Дверь закрылась.

Через минуту раздался протестующе-пронзительный женский визг, хорошо слышимый на лестничной площадке и в смежных квартирах:

– Ай! Ма-нь-яаяя-к! Маньяк проклятый!!!

Более всего Славик, не зная того сам, был душевно благодарен низкорослым молоденьким вьетнамкам, похожим на девятилетних девочек-подростков, живших в подсобном подвальном помещении камеры хранения китайского рынка, здесь и работавших. За тот великолепный треск и лёгкость невероятную, с какой рвалось под его руками элитное, невыразимой красоты женское нижнее бельё от самых лучших итальянских фирм, пошитое их миниатюрными тонкими пальчиками.

ПОЛУНОЧНИК

Я мёртв? Мне кажется, что я мёртв и душа моя очнулась на большом карнавале теней. Неясные, но знакомые фигуры с необыкновенной лёгкостью скользят кругом бесшумными, призрачными толпами, и где-то в глубине этой массы парит, увлечённая всеобщим весельем, моя собственная душа.

Зачем этот пир? Почему они так бесшабашны, стремительны и неуловимы, и откуда, скажите на милость, становится мне известно совершенно точно каждую секунду, каждое мгновение, – где в этом чудовищном хороводе мчится душа моя? Где она ликует и плачет? Ведь различить хоть что-нибудь определённо невозможно... слышу отголоски невыразимой радости, переполняющей её, наконец-то вполне понимая, что означают слова «чувствовать всей душой». Тени скользят во мраке, то светлее общего фона, серые и почти прозрачные серо-зелёные, то непроницаемо чёрные, по стенам и потолку. Вдруг я догадываюсь: все они действительно тени, лунные тени быстро гонимых перистых облаков, летящих где-то высоко, в исполненном холодного сияния ночном небе.

Как жаль, что это не души, а только тени. Впрочем, будем считать, что они всё-таки души спящих или умерших. Я не сплю, значит, я мёртв?

Женщина рядом тоже не спит, но и не умерла, поэтому среди толпы теней нет тени, принадлежащей ей.

Сто лет назад я мечтал лежать вот так, рядом с ней, видя в млечном свете разметавшиеся по горячей подушке тёмные влажные волосы, светящийся овал щеки с тайным прочерком губ, но теперь это уже не может быть мечтой, если даже она вдруг перестанет звонить, и мы больше никогда не встретимся.

Теперь мне хочется встать и уйти в ночь до утра, растаять, уплыть в черноту, чтобы вновь почувствовать то особенное, что произошло там, в горах, где не было никаких женщин, кроме женщин-сновидений, зато была глубокая смертельная ночь среди холодных осыпей, рассекаемая брызгами каменной дроби и незабываемо прекрасным, слабым и нежным, как сама жизнь, запахом расщелины, в которой мы растворились, и которая подарила нам жизни просто так, с необъяснимой щедростью.

Я мог бы давно лежать в цинковой хоромине, а то, что не вздулся, расперева боками самое надёжное убежище в мире, и свободно разгуливаю среди живых по своим надобностям: на работу – с работы, так просто по улицам, даже сюда, в укромную однокомнатную квартирку, чтобы отправить свою знакомую в полёт до утра, – всё это лишь добавляет немного перца в бездарное существование и, как ни странно, оживляет его.

Ведь я мёртв. Мне случайно не отрезали голову чернобородые духи, и не сунули её в брезентовый мешок даров войны. Своим новым рождением мы обязаны не людям, а узкой трещине в скальной породе, сквозь которую удалось протиснуть в муках нового рождения ставшие почти чужими свои бранные тела. И ночи, да, матери-ночи, забыть про неё – значит упустить главное, даже совершить святотатство. С тех пор ночь и только она одна способна одарить, успокоить, вылечить от пустоты. Не здесь.

Я потрогал голову, шею, где всё чудится срез кривым острым ножом; виски особенно горячи, вены набухли, как шланги. "В крови моей переплетенье народов, наций и племён и жаркий голос обновленья ещё не названных имён..." – что за глупость, никому здесь не нужны эти мнимые новые имена, ни ей, ни мне.

Ночь притягивает сильнее. Манит тревожной жадью риска и смерти, запахами, звуками, неодолимая тяга пронизывает темноту гиперболами гравитации. Наверное, я лунатик. Возможно.

Впрочем, плевать на луну, без неё лучше. Я исчезаю из тёплой постели, обильно благоухающей французскими духами, от безмятежной бетховенской женщины, улетевшей слишком далеко, чтобы оказаться кому-то близкой, от покоя, мерного стука настенных часов. Прощай, благословенная комната легкоранимого уюта, комната двух тарелок, чёрного бразильского кофе, апельсина и бутылки янтарного вина, прощай, а может, до свидания.

Я жажду наполнить лёгкие великолепным запахом смерти, почувствовать, как запоздало трепыхнётся внутри нечто острокрылое, неуловимое, собираясь отлететь: "...ах-ах...", и если доведётся – воскреснуть.

Как тень скользнул в дверь из помещения, слишком хорошо обжитого другими тенями: карнавал их в полном разгаре, но душа моя уже покидала его и, постояв немного в углу комнаты, слилась с чернотой ночи, перестав существовать отдельно.

Не могу сказать, что занимает более летней тёплой ночи, в которой мрачно-голубые утёсы домов напоминают громады гор, восточная чернота августовского неба полнит тело весёлой резвостью, так что от избытка энергии тело начинает томиться. В той родительской щели мне показалось, что я уже не выдержал и умер, а из другого её конца выкарабкался иной, незнакомый человек: "Вошёл Иванушка-дурачок коню в одно ухо и вышел из другого писаным красавцем".

Оказалось – нет больше радости в жизни, чем воскресение из мертвых. Христос возместил грехи человеческие страданием на Голгофе, кропя долгие часы сухую пыль рубиновой кровью, но я часто думаю с подозрением: ведь следом было Воскресение. Лишь немногие отведали в жизни это чудесное лакомство, да и те помалкивают: тсс-сс-сс! О, я знаю! И много раз! Воскресение окупает кровь и страх с невероятным избытком, если сражаешься до конца, если таки дойдёшь, дотронешься до последней грани бытия, телом ли, душой – неважно, оно воздарит всё с таким избытком, что прочее станет пылью и прахом.

Я воскресал сто, двести раз, бросая жизнь, как мелкую никчёмную монету в густоту ночного моря, а она никчёмна – это для меня столь же очевидный с некоторых пор факт, как утверждение, что белый свет бел; жизнь моя никчёмна, потому что бессмысленна, и она уходила на самое дно морское, в глухой ил. Но, теряя, начинаешь ощущать ценность потери, по сути, это не ценность жизни, а именно цена её потери. Но и цена последней потери по сравнению с голым нулём всегда огромна, и тогда бросаешься спасать её из черноты обратно, потому что никакая другая страсть Христова несравнима с Воскресением.

Плохо лишь то, что день забивает ночь светом, радость никчёмностью. Яркая пустота солнечного дня слепит глаза, и постепенно забывается, в какой невероятной лотерее удалось выиграть ночью собственную жизнь. Я вышел из подъезда в город.

На безлюдных улицах разлит жидкий неон. Три часа ночи. Вдали призрачно серебрится городская площадь. По широким пустынным автострадам с безумием камикадзе носятся друг за другом такси и патрульные машины. Колючий скрип протекторов, вминаемых в асфальт. Выключенные светофоры с маниакальной настойчивостью моргают жёлтыми глазами, напоминая, что ночная игра без правил началась. Многократно повторённые на перекрёстках, они читаются как сигнал опасности, но никакой опасности пока нет. Для созревания любой опасности требуется время.

Выбираю для себя кривую тёмную улицу, которая, достаточно наплутавшись среди домов и гаражей, выходит на площадь. И неторопливо иду по ней, то проявляясь на свету, то входя в густую черноту вязов и клёнов, разросшихся на газонах, постепенно привыкая к мраку, наполненному чьими-то вздохами, миганием мелких ярко-малиновых

цветков сигарет, исчезающих как по команде, и лёгкими перемещениями тоже невидимых спутников. Кто-то стоял так близко, что, проходя мимо, я задеваю крепкое кожаное плечо, почти такое же крепкое, как моё собственное, и не извиняюсь. Извинение ночью в кустах выглядит бестактно, впрочем, это моё сугубо личное мнение, кто желает – может попробовать.

Я внимаю ночному небу, холодно открытому в космос, и сознание, что между мной и звёздами нет ничего, кроме огромного расстояния, наполняет душу беспокойным трезвым одиночеством.

Всё распадается на части. Одинокие мёрзнущие деревья. Одинокие дома, хранящие живой бесчувственный груз в своих многоэтажных, утлых трюмах, как пароходы без команды в чёрном океане. Одинокий город. Остывший кремниевый шар.

Какое высокое одиночество внушает ночь. Оно не чувствовалось или почти не чувствовалось в Афгане, наверно, потому, что всегда имелась ближайшая цель существования; цель дня или даже цель минуты, выраженная исключительно в глагольной форме: почистить, охранять, подавить, уничтожить, спастись, отоспаться, а общее предназначение жизни существовало в укороченном варианте – отслужить и вернуться.

За полтора года я убил двоих, один раз ускользнул от верной смерти, в общем, говоря устами служебной характеристики, честно исполнил долг, и попутно даже испытал разочек неимоверный восторг, – когда удалось не стать мертвецом. Эту дурацкую эйфорию мне не с чем было сравнивать после возвращения: ну пришёл, ну восстановился на второй курс, ну и что? Как полагается бывшему служивому, навёл порядочек в комнате общежития, куда поселили: прикрыл картёжную лавочку, ввёл спартанский образ жизни и чёткий распорядок дня с общим подъёмом и отбоем. В общем, дал понять.

Конечно, мальчики сопротивлялись, и в то же время чуяли исходящий от меня запах смерти. Я никому не говорил, что убивал, хотя и не испытываю угрызений совести; пусть эти люди были обычные декхане в драных халатах, выращивающие мак на маленьких горных делянках, что с того? По ночам они брались за винтовки, сражаясь за свободу наркотрафика в Союз, и я убил их в бою, с оружием в руках. Даже если б у них не было оружия, а только натертый след от ремня на плече под халатом, и мне приказали просто расстрелять их у дувала, я бы выполнил приказ. Я бы убил по приказу.

А мальчики... что ж, здесь предел – драка с соблюдением джентльменских соглашений, в то время как мой – смерть. Впрочем, нет, через смерть перешагиваю не оглядываясь, мой предел Воскресение, врать не буду, дальше не был.

Вот оно! Ощущение опасности, ещё не леденящей, но основательно, твёрдо давящей на плечи. Чей-то ночной взор по хозяйски смёл сор вселенского одиночества и охладил душу. Непонятно, где он находится, что из себя представляет, и как узнал обо мне, но я уже выбран для игры, ему доложено, и теперь меня вычисляют. Я пока бездействую. Даю фору. Там посмотрим.

Вдруг рядом через кусты с треском проломился человек.

Наткнулся на стену дома и зашарил по ней, пытаюсь отколупнуть старую штукатурку. Потом схватил обеими руками голову, словно боялся её потерять, и неуверенно завыл. Здорово пьян и напуган. Отовсюду, как из-под земли, выскакивают на тротуар лёгкие, тонкие, прыгучие тени. С дьявольской резвостью оттащили пьяного от стены и гуттаперчево заскакали вокруг него, словно кто дёргает их сверху за невидимые резинки. "Мать вашу, – заорал пьяный, – зашибу, гады!"

Взмахнул кулаком, тень которого на стене была огромна и напоминала многотонный молот, сзади взмыло вверх острое тельце пираньи, и на лету последовал тычок в затылок. "А-аа-а", – перекошенное болью и ненавистью лицо повернулось к обидчику, но змейка другого тела унеслась вверх – ещё в темя, и ещё, и ещё...

Каждый попрыгунчик имеет в руке небольшое шило. Пираньи молоды и наглы. Им лет по тринадцать, а беснуются зрелыми садистами.

Первому досталось жестковато, улетел метров на пять. Остальные продолжают танец, опьянённые человеческой кровью и слабостью перед ними, не замечая ничего другого вокруг. Зря, деточки.

Серия отрезвляющих ударов все же заставила отступить и моментально исчезнуть в темноте.

Теперь опасность чувствуется резко, как запах нашатыря. Неведомый Хозяин меня расшифровал – игра пошла в его пользу. Пьяница по-прежнему ничего не соображает, стоит качаясь, охватив руками голову и лицо.

Подломить сзади ноги, кулём опрокинуть себе на спину.

Теперь самое трудное – выждать. Секунда. Другая. Наконец засветил зелёный огонёк такси. Резким рывком на одном дыхании прошли заросли и вынеслись на проезжую часть. Слава всевышнему, тормознул. Затолкнув пьяного в салон, огорошим таксиста:

– Гони в травмпункт. Сильно поколот. Давай, – и, хлопнув дверцей, исчезаю в темноте. Его проблемы.

Вообще, неплохо бы на пару минут выйти из игры. Отъехать и вновь приобрести инкогнито для Хозяина, только это будет не живо. Это будет день, а мне нужна ночь. Даю фору пять очков.

Вот и площадь, центр местного мироздания. Засветло будет полна машин, трамваев, железные поручни по краям тротуаров еле сдерживают людское торжествующее месиво. Сейчас пустыней, чем на Луне. Огромный кратер с зубчатыми краями неразличимых домов и деревьев светится с такой силой, что глазам больно.

Чувствую на себе взгляд, тяжёлый, как занесённый лом. Не обращая на него внимания, иду прямо в центр площади, мимо законодательной клумбы, здесь располагаюсь на одинокой скамейке посреди небольшого сквера. Ставки возрастают кратно. Где же наши Армстронги? Тихо, ни души. Можно расслабиться в последний раз перед началом. Погрузить голову в плечи, вытянуть ноги и ждать. Ха, вот возьму сейчас и усну. Представляю, как вытянется рожа Хозяина, когда после большой подготовительной возни они атакуют меня спящего. Хорошо, но слишком жирно будет.

В парке за домом с колоннами оглушительно тихо и мрачно. Неприятный шорох, словно в тёмной комнате тараканы бегают по бумаге. Объявляется готовность номер один. Пора встать и направиться неторопливым шагом в произвольном направлении. Лучше всего навстречу тем, неизвестно откуда взявшимся людям, тоже идущим неторопливым, прогулочным шагом. Какой тонкой и беззащитной сделалась собственная тень. Игра начинается как бы понарошку, но поддавки кончились.

Мозг заработал, выдал Соображение Первое: площадь оцеплена. Второе: улицы, пересекающие площадь, заблокированы. А вот и группа захвата. Две. Две группы захвата. Следом родилось сомнение: не слишком ли роскошно для тебя одного? Неужели так сильно раздражил придурков прошлый раз? Возможно, эти мероприятия предназначены для кого-нибудь другого, и я лишь случайный свидетель?

Нужен контакт. Проверим выход у Дома культуры. Экие толстые, слоновьи колонны на парадном крыльце. Есть ли кто за ними?

Когда остается шагов тридцать, из-за железных ворот предупредительно вышли сразу четверо. Не сближаются. Просто встали на пути. Вежливо, дисциплинированно. Ясно, их дело – не пропустить. А насчёт поимки – такой задачи не ставили. Ну что ж, маэстро, фигуры на доске, часы пошли, партия началась, пока лучше отступить в центр площади.

Милое дело воевать без огнестрельного. С точки зрения армейской я здесь трупник безнадежный. Засвечен насквозь. Первая очередь моя. Тут – хоть бы хны.

Наоборот даже: имею большой оперативный простор, и поди, поймай меня, зайца в камышах.

Мимо пронёсся милицейский газон. Нет, ребята, милиции не требуется. Обойдёмся пока. Когда будет надо – её не будет. Проверено жизнью. А колечко меж тем сжимается, хороший у них сегодня главнокомандующий, всё по правилам, всё предусмотрел, даже пожарную лестницу на торце пятиэтажки блокировал.

Или почти всё. Всего предусмотреть нельзя никогда. Интересно, если повалят, чем будут бить? Неужели этими железными прутьями, которые не очень старательно маскируют? Ты посмотри, сколько народу разом вывалило дышать свежим воздухом в четыре часа ночи. И как дисциплинированно ходят. Да, пришла пора соображать. Думай, думай, сейчас побегут. Рванули. Нет, остановились, опять патрульная летит. И кого наша доблестная милиция патрулирует на скорости сто км/ч в час?

Всё же от греха подальше им придётся затащить меня куда-нибудь в подворотню – милиция не одобряет скоплений. А потом уже приступить к экзекуции. Стоп думать за Хозяина, похоже, там дела обстоит неплохо. Ты за себя работай. Побежали. Ага, выход из подземки остался за спинами. Хорошо. Конечно, ночью никакой дурак не кинется в подземку искать спасения: там кафельные стены, низкие синие лампы, как в бункере гестапо. Мальчики с хмурыми лицами обожают играть в гестапо. Если завалят там, рискуешь очнуться только утром, головой в оплётанной урне с окурками. Если, конечно, очнёшься. Не спи, замёрзнешь. Вот интересно знать, поставил он кого внутри, если снаружи пусто? И если поставил, то кого? Может, самые волкодавы ждут – не дождутся? В цепях кто ходит? Загонщики с металлоломом. Да нет. Что-то не похоже.

Пора двигать.

Если бы они знали, что охотятся на мертвеца, не делали бы свои хари столь устрашающими. Не торопясь, разминочной трусцой направимся вдоль их цепи, якобы к другим ажурным воротам на противоположной стороне площади. Где мрак мраком и никого не видно. Значит, очень ждут.

Всегда выбираю противником самого здорового, самого уверенного в цепи, и он, как правило, оказывается слабым звеном, потому что не ждёт подобной наглости от одинокой жертвы. Этот, в кожаной куртке без рукавов, с горами надутых бицепсов и шеей вола – а-ля викинг, только крутых рогов на башке не хватает – этот сойдёт. Резким скачком набираю скорость и вдруг нападаю на него первым (а Трувор собирался преследовать, гнать и бить). Скорость плюс неожиданность решают дело. Конец прута успевает чиркнуть по спине, но я уже на входе в подземку. Из неё три выхода, и если что, караулят где-нибудь прямо здесь. Ерунда, молодняк пасется.

Два пацана тюкают с разных концов лампу дневного света кирпичами, с идиотическим любопытством дожидаясь, когда же она, наконец, треснет и потухнет. Расслабляются. Или оттягиваются? Третий тоже при деле: перевернул урну, пинает кругом мусор, всё больше на кого-то озлобляясь. Обернулись поздно, увидели чужое, перекошенное яростью лицо, зажмурились, прижались к стенкам, горбя худые мышинные спинки.

Только бы не успели перекрыть выходы там, наверху. Лучше всего прорываться на аллею, но в главном тоннеле слишком темно, оттуда крепко тянет "Опалом", а я подсвечен сзади. Там ждёт удар арматуриной в лоб и крутой навал. Уходим вправо. Прекрасно. Отличный вираж, уже не скучно.

Здесь охрану несут два сопляка. Один принял стойку каратиста, визжит, руками машет, ну а просто, без затей, в рыло не хочешь? Хлынули кровавые сопли, нос сломан, живи теперь с пятаком, раз таскаешься ночами. Или мертвец, как я? Без дискуссий. Тени. Вперёд. Охватив голову руками, вприпрыжку наверх, по середине лестницы. Свирепый удар в левый локоть. Рука немеет. Вошёл в контакт и, пользуясь хорошим запасом инерции, опрокинул заслон. Кулак сжимается, локоть гнётся, ладно, родимая, отболит завтра, сегодня некогда.

Тротуар, подворотня – темнота хоть глаз коли, что-то мягкое под ногами, верно, клумба... ещё наддать. На какое-то мгновение бросил взгляд в большое зарешеченное окно первого этажа, в котором горела лампочка сигнализации, и чуть не споткнулся.

За стеклом человек: круглое светло-жёлтое лицо покойника, жутко большие, как перепонки крыльев летучих мышей, оттопыренные уши, глядит прямо на меня сквозь решётку в виде лучей восходящего солнца с незабываемо зорким пристрастием. Под носом хищно бродит улыбка, скроенная из губ, похожих на жировые складки. Мороз продрал по коже. Это Хозяин. Почему? Не знаю. Но это он. Мне показалось, что вдруг проснулся. Ужасное изумление охватило душу.

Зачем бегу здесь ночью, к чему всё это? Почему не живу нормальной жизнью, как другие? Кто другие? Вздор. Никто не живёт как другие. Каждый имеет свою единственную душу и судьбу.

Много думать стал. Догоняют. Повисли на пятках. Надо оторваться. Постарался, не смог. Сзади хорошие, выносливые бегуны. Без шума идут. Стал хитрить, мотать по тёмным дворам с закоулками. Эти ночные ребята не лыком шиты, дважды устроили засаду, будто знают куда побегу, и отрезают двор за двором.

Приходится лететь четвертый раз по одному и тому же небольшому кругу, дистанция сокращается, дела неважные. Но я сам этого хотел. Чтобы они стали совсем плохи, прямо никуда, а потом поднажать – и настанет Воскресение. Я жажду Воскресения, но сначала должна быть смерть. Чего хотят они?

Сейчас бы вырваться на освещённую улицу, броситься с размаху под колёса тачки и отдохнуть на мягких кожаных подушках в прокуренном салоне. Не позволяют.

И тут только понял всё до конца. Открылась бесстрастная, глухая к любым надеждам истина: Хозяин был повсюду, его круглая наглая рожа светилась прямо с неба, и как скоро бы я ни летел, она всё время плыла рядом, ухмыляясь смутными губами. Мёртвые, размытые глаза следят за мной. Воздуха, воздуха не хватает. И слишком светло сегодня.

Выложился до конца, до самого доньшка, оторвался-таки шагов на сорок, влетел в маленький дворик с очевидным выходом, рывок в тень, где Хозяин не увидит меня сверху, ничком в кусты. Лидирующая пятёрка вбежала тотчас. Остановились. Ничего не скажешь – крепкие парни. Стоят молча. А, ясно, прислушиваются к моему топанию. "Он здесь, – деловито сообщил вошедший с другой стороны человек. – Его надо сделать".

Я узнал Хозяина. Он мёртв. У него синее трупное лицо. Лоб блестит, смазанный жиром. Кожа зеленовата, а глаз нет совсем, размылись. Как они не видят, что Хозяин мёртв? Вот зараза, левая рука не пашет совсем, а мертвяка надо в гроб, в гроб трамбовать, а то он уже на небо лезет. Кулак не сжимается, но плечо ещё ворочается. Очень хочется быть живым, именно быть, а не просто выжить в данной ситуации. Эх, калаша нет, да и не по делу он сейчас. Зря выложился до конца, надо оставлять на доньшке.

Развернулись в центре двора и от песочницы начали радиально расходиться, к ним прибыло подкрепление, молчаливые люди-тени входят во двор с обеих сторон, несколько человек перелезли через забор. Не прикрыта пока пятиэтажка. А там куда? Стучаться в двери и звать на помощь? Смешно. Закрыт ли чердак? Вот в чём вопрос. В чердачном мраке, среди невидимых балок и перегородок может получиться шикарная войнушка, где один против всех – начинает и выигрывает, это куда интересней, чем просто носиться по дворам. Но там Воскресение точно не состоится при наличии у них хотя бы одного фонарика.

Ладно, хватит валяться, рванём в подъезд. Так. На второй этаж. Окно открывается? Нет.

Они не стали ломиться. Заходят один за другим вежливо, не торопясь. Пробуем окно третьего этажа. Нет. На четвёртом. Увы. По чистоте лестниц, аккуратной побелке

и покраске стен наконец догадался, что дом кооперативный и, следовательно, содержится в порядке снизу доверху. Значит, люк на чердак должен быть закрыт.

Люк закрыт.

В том, что они поднимаются без единого слова, есть нечто зловещее. Давят на психику. Не тот случай, идиоты. А что, пожалуй, финиш. Плевать, смысла нет. Нет смысла. Можно было предвидеть, что с воскресением когда-нибудь не выйдет. Да фигня. Унывать не стоит. Нет смысла, значит, надо искать идею. Раз нет смысла, ищи идею. Кто сказал?

Скинул рубашку, кроссовки и трико, крикнул громко: "Ладно, приду к тебе больше, жди, дура чёртова!" - и начал медленно спускаться вниз, собираясь с силами, рассуждая вслух насчёт проклятых баб. Как оно? Ага, замялись, собаки. Дерьмо, обыкновенное дерьмо, и сам я болван из болванов. Замялись, затормозились, ну да, раздетый мужик прётся навстречу, зенки пустые выпялил, проходит мимо, как ни в чем не бывало. Тот? Не тот?

– Народ, сколько время?

Толстяк перегородил проход своей тушей. Догадливый. Взгляд тяжёлый, не людской. Мертвечина.

– А недолго осталось, – ответил пискляво, – что, не видите – он, берите!

Ну размечтался, прямо сил нет. Бросаюсь сверху на тушу и, как тараном, сшибаю нижестоящую гвардию. Кубарем вниз, все вместе, ах, здорово!

У дверей малость сплоховал: двое очень тренированно, будто всю жизнь трудились в органах, повисли по бокам, заломив руки. Ничего. Бодаем со страшным треском двойные двери, кучей вон из подъезда – отлично, помню, здесь должны быть три ступени: три, два, один... пошёл давить вниз, в темноту, юзом... авось... что за туман? И снова тени, тени... мне кажется, что я мёртв, и душа где – не знаю, и тени разлетаются, расходятся куда-то по своим делам, понуро и осторожно – недоверчивые. Карнавал окончен? Завтра воскресенье? Почему нет радости? Или будни, будни...

Но где же ты, душа моя, где?

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СЕЛА МУХА НА ВАРЕНЬЕ.....	1
2. СТАРИК И ЕЛЕНА.....	8
3. НЕВЫНОСИМАЯ РАДОСТЬ БЫТИЯ.....	19
4. МИСТИЧЕСКИЙ ВЫСТРЕЛ.....	37
5. ЯШКА ОБЕЗЬЯН.....	46
7. АХ, ЭТИ СЕРЫЕ ГЛАЗА.....	55
7. ГИПОТЕЗА БИБЕРБАХА.....	69
8. ЖИЛ-БЫЛ В ТРАВЕ КУЗНЕЧИК.....	74
9. ПРОХОЖАЯ.....	82
10. ТАМ, ГДЕ ХОРОШО.....	83
11. ТРИ ОСКОЛКА В ОДНОМ СЕРДЦЕ.....	89
12. СЕМЕЙНЫЙ ТУР.....	96
13. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАНЬЯКА.....	103
14. ПОЛУНОЧНИК.....	115